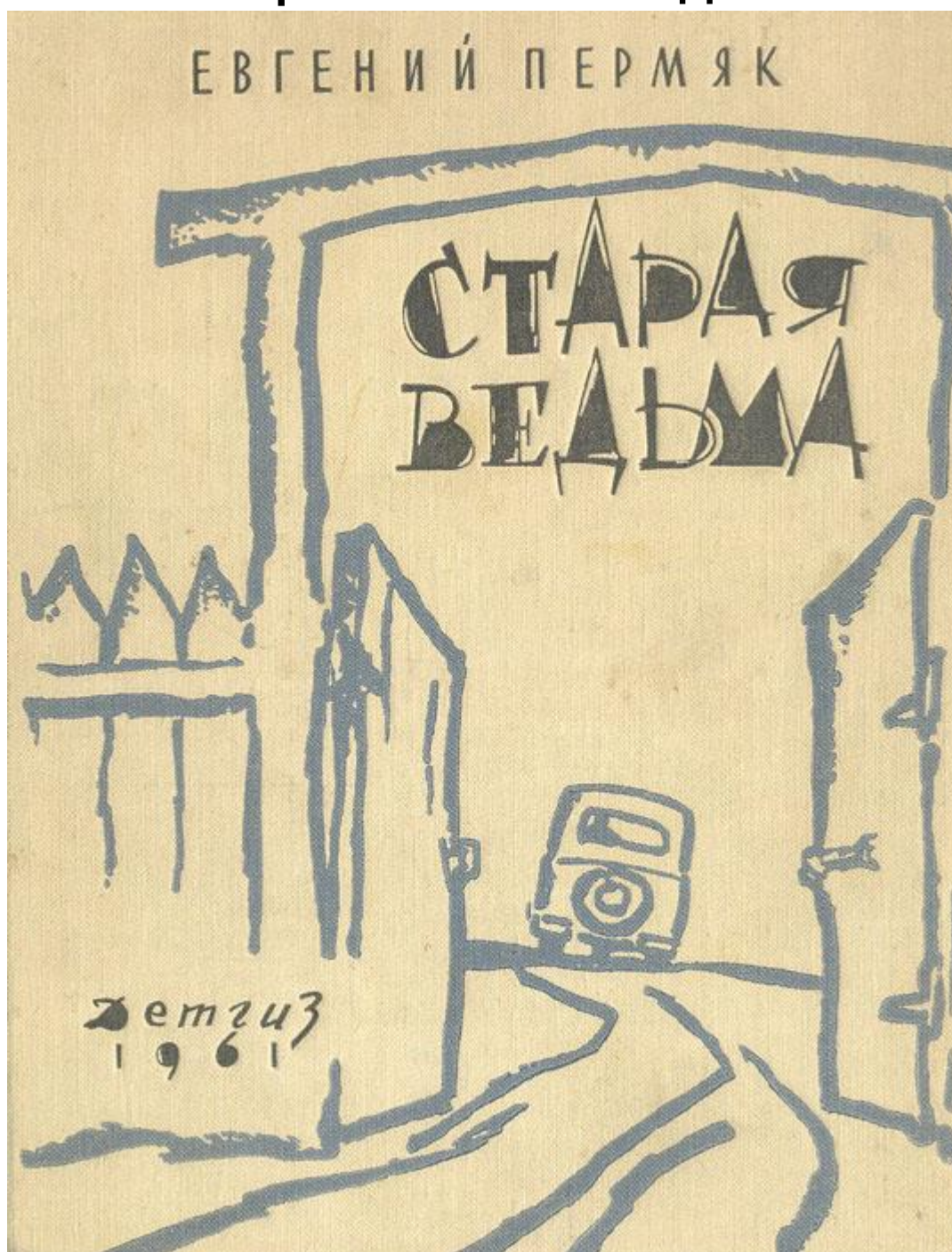


## Евгений Пермяк СТАРАЯ ВЕДЬМА



Роман

I

В жизни случается иногда так, что и маловажные события вызывают большие потрясения.

Нечто подобное произошло в новом доме довольно известного сталевара Василия Петровича Киреева. Событие заключалось в

том, что владелец и строитель этого добротного дома обнаружил в нем гниль.

Не верилось... Дом в общей сложности с начала закладки не простоял и четырех лет. Его рубленые стены едва-едва пошли в краснину. А сегодня утром, когда Василий Петрович полез в дальний подпол, где хранились снадобья для опрыскивания растений, увидел невероятное. Балки, переводы и пластины наката черного пола оказались изъеденными бурой гнилью так, что некоторые из них можно было проткнуть пальцем.

Василий Петрович вылез из подпола трясущийся и потный.

— Ангелина! — окликнул он жену, работавшую в саду. — Беда!

— Где? Какая?! — отозвалась она, подбегая к мужу.

— Там, — указал он вниз, утирая рукавом на лбу холодные капли. Гниет, понимаешь, наш дом. Вот посмотри.

Василий Петрович положил на крыльцо перед женой большую бурую гнилушку. А она, боясь взять ее в руки, смотрела испуганно и жалостливо, не зная, как понять, как принять, как оценить случившееся.

— Только бы не грибок... Только бы не грибок... — твердил Василий Петрович, разламывая и разглядывая кусок сгнившей древесины.

При слове «грибок» молодая женщина вздрогнула, ее милостливое личико искривилось, и она готова была дать волю слезам, но сдержалась. А сдержавшись, припала к груди Василия Петровича и принялась его утешать:

— Почему же именно грибок, Вася, а не что-то другое? Ну почему же именно он?..

Василию Петровичу было не до утешений. Ему, человеку порывистому и нетерпеливому, нужно было знать сегодня же, сейчас же о природе возникновения гнили и о том, какие нужны меры, чтобы приостановить беду. И он как был, в рабочей одежде, так и кинулся к старенькому «Москвичу», торопливо завел его и, не дожидаясь, пока разогреется мотор, покатыл в город.

— Сейчас привезу Чачикова, — крикнул он из окна машины Ангелине, открывавшей ворота, — а там будем решать!..

Проводив мужа, Ангелина Николаевна принялась ощупывать стены своего такого долгожданного, такого любимого дома. Обходя его, она в беспокойстве пробовала крепость бревен сначала ногтем, потом подобранным на земле гвоздем. Стены были целы. Крепки были и нижние венцы.

Значит, поражен только пол. И это, может быть, не означает гибели дома, хотя она и была наслышана, как страшен грибок, этот неизлечимый рак древесины. Он мог перекинуться на стены, и тогда — прощай... Прощай тогда сбывшаяся мечта — полная чаша радостей и благополучия.

Разговаривая сама с собой, Ангелина увидела прислоненную к яблоньке огородную тяпку. Эту тяпку оставила здесь Лидия, шестнадцатилетняя дочь Василия Петровича от первого брака. Вспомнив сейчас о падчерице, Ангелина подумала: а не мстит ли ей жизнь за падчерицу — за то, что она бывает холодна с нею, а иногда и несправедлива?

Подумав так, Ангелина многое вспомнила из их отношений и во многом готова была раскаяться, чтобы предотвратить этим возможное поражение грибком стен дома. Грибок мог не пощадить и здоровую древесину. Грибок мог съесть все строение в два-три года... Но так думалось Ангелине, пока она, ковыряя гвоздем стены дома, обходила его. Убедившись же, что страхи преувеличены, она посмеялась над своим нелепым предположением. В этом было что-то от покойной бабки Самсонихи, верившей в промысел тайных сил и неизбежность возмездия за всякое зло.

Успокоившись, Ангелина решила дождаться возвращения матери, чтобы вместе с нею слазить в подпол. Одной лезть туда было почему-то страшно. Может быть, потому, что гниль связывалась в ее голове со смертью. Время шло, а мать не возвращалась с рынка. Наверно, она зашла к Анисье Панфиловне. Эта оборотистая старуха оказывала Киреевым немало различных услуг. У них же не просто свой дом, но и сад, огород, тепличка, три козы, два борова и племенная свинья.

Серьезное хозяйство. Оно требовало деловых помощников и оборотистых посредников...

Обо всем этом еще будет сказано, а теперь предоставим слово старому технику-строителю.

## II

Мирон Иванович Чачиков хотя и не имел специального образования, но, будучи одаренным человеком, выбившись из десятников в прорабы, пользовался хорошей репутацией не только у застройщиков, возводивших дома своими силами, но и в строительных организациях.

Выйдя теперь на пенсию, Мирон Иванович уже не строил, а занимался одной лишь консультацией, давая советы, всегда умные и всегда исчерпывающие.

Знатоку и практику строительного дела хватало, как он говорил, «легкой умственной работы в частном строительном секторе». Вычертить проектик застройщику, подсказать экономию средств и материалов, распланировать застраиваемый участок... мало ли дел толковому человеку, умеренно берущему за свои наставления!

Вот и сейчас он добросовестно облазил весь подвал, затем, рассмотрев образцы пораженной древесины, сказал:

— Самый настоящий домовый грибок, в самом окаянном его виде, под названием «домовая губка». Перекрытие необходимо сменить полностью.

— И чистый пол тоже? — заикаясь, спросил Киреев.

— И чистый пол, и, наверно, нижние венцы, Василий Петрович, хотя они и не тронуты. Но ведь глаз, дорогуша, не микроскоп. Да и микроскоп может увидеть не все. Грибница у домового губки въедливая и живучая. Поэтому все пораженные части нужно не только выбросить, но и сжечь, а здоровые тщательно обработать антисептиками. Антисептиков нынче напридумано видимо-невидимо, и это не вопрос. У меня есть рецепт «адской» антисептической смеси. Положение аварийное, но не смертельное. Организм дома здоровый. И после капитальной вырубки поврежденных частей дом будет жить сто лет...

Бледность не покидала лица Василия Петровича.

— Так как же, откуда же все-таки, Мирон Иванович, взялась эта губка? И главное — ни с того ни с сего...

— Дорогуша Василий Петрович, ни с того ни с сего ничего не бывает на свете, — отвечал разговорчивый старик. И его

разговорчивость усилилась еще больше, когда на столе в большой комнате появились зеленый графин, две рюмки под стать ему, а затем сопровождающая все это закуска. — Дом, как и человек... Сегодня жив-здоров, а завтра — бац! — аппендицит или какое-нибудь другое заболевание. Печени, скажем, или двенадцатиперстной кишки, или морально-душевное прободение на нервной почве.

Выпив одну, затем другую рюмку, Чачиков принялся рассуждать о возможных причинах возникновения домового грибка, показывая полную осведомленность в этом вопросе:

[1](#) [23](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) ...[53](#)

— Главное — сырость, затхлость и темнота. Это среда для развития. А причин возникновения — сто. Доска с синевой попала в дело. Плохая изоляция фундамента от деревянных стен. Пол неаккуратно мыли, воды напустили в щели. Вот тебе и опять повод. Засыпку по черному полу сделали непросушенной землей... Всякий дом, дорогуша мой Василий Петрович, хорош только издали да на картинке. А когда он свой, да самодельный, да весь из экономии сделан, без просушки, без настоящего строительного глаза, то это не дом, а заманчивое строение для предварительного погребения.

— Да будет тебе, Мирон Иванович! — огрызнулась из кухни мать Ангелины, теща Василия Петровича. — Наши отцы-деды все своими домами жили.

Мирон Иванович, продолжая развивать свои мысли, не пожелал обратить внимание на замечание.

— Другому хозяину только кажется, что он живет в доме, а не дом в нем. Хоть бы и тебя взять, Василий Петрович... Грибком больно перекрытие, а на тебе нет лица. Будто домовая губка не балки ест, а съедает твое сердце, губит твою нервную систему.

На это Киреев сказал:

— Иначе и быть не может, Мирон Иванович. Я ведь его чуть не наполовину своими руками возвел. И он как бы уже не он, а я сам в его деревянном обличий. И мне в этом доме не только каждая балка, каждая половица, понимаете, дорога, но и каждый сучок мил, каждая капля смолы для меня по-особенному пахнет.

— Точно, — подтвердил Чачиков, выпивая очередную рюмку. — Разве я не понимаю? Сам домом жил. Тоже и сад-палисад был. Корову держал. Своими руками теплый коровник рубил. А рядом тоже курятник был. На двадцать кур. С электричеством. В феврале нестись начинали. Ноские были курочки. И свинок держал. Свои окорока солил... Да на квартиру переехал.

— Что так?

— Дольше пожить захотелось, — ответил Мирон Иванович, улыбнувшись, а затем, опрокинув еще рюмку, стал собираться. — Мне пора. Если понадобится, вызывай, дорогуша. Чем могу, помогу.

Василий Петрович полез было в бумажник, но старик предупредил его:

— Потом. Я еще не один раз к тебе приду. Так ты уж аккордно... И лучше не деньгами. Тещенька-то твоя любит больше продуктами вознаграждать. И правильно.

Киреев крикнул возившемуся на дворе сыну:

— Вань! Тебе так и так в город надо, подбрось Мирона Ивановича, а потом — куда вздумаешь. Машина мне сегодня не нужна. Только посматривай... Опять никак через сальник масло гонит.

Двадцатилетний сын Киреева, которому в этот воскресный день предстояло вместе с сестрой работать в саду, был несказанно рад возможности побывать в городе, повидать друзей.

— Я — раз-два, только переоденусь! — весело согласился он.

Вскоре Мирона Ивановича проводили. Серафима Григорьевна, теща Василия Петровича, сунула ему банку с черносмородинным вареньем и пару ранних огурцов, выращенных в теплице.

«И хватит с него», — подумала она, а потом сказала дочери:

— Весь графин усидел, а работы было всего ничего. На пять минут в подпол слазить...

Происшествие почему-то не особенно взволновало Серафиму Григорьевну. А Василий Петрович, наоборот, принял все это очень близко к сердцу. После разговора с Чачиковым ему даже стало казаться, что домовый грибок и в самом деле поражает его сердце и

легкие. Труднее дышалось. Будто что-то надорвалось. Будто наметилась какая-то невидимая, но роковая трещина в его жизни.

### III

Чтобы рассеяться, чтобы забыть о проклятой губке и пока не думать, как он будет менять пол, балки, а возможно, и нижние венцы стен, где он добудет сухой лес и деньги на его покупку, Киреев занялся опрыскиванием плодовых деревьев и кустов.

Когда уходишь в работу, неизбежно отвлекаешься от тревожных мыслей. Но сейчас отвлечься было ему трудно. И чтобы не думать о грибке, о домовладельческих тяготах, Василий Петрович принялся вспоминать о том, как все это началось...

Все началось с улыбки Лины. Ей тогда было двадцать два года, а ему тридцать семь или тридцать восемь лет.

Похоронив жену, Василий Петрович долго тосковал. Его утехой были дети — Ванечка и Лидочка и работа. Удачи в то время будто сами собой приходили к нему и по качеству плавок, и по времени и количеству выплавленной стали.

К его боевым орденам и медалям прибавились трудовые ордена. И все радовались этому. Его любили товарищи, потому что он щедро и широко раздавал окружающим свои сталеплавильные находки. Помогал словом и делом. Его нельзя было не любить.

Ваня и Лида росли хорошими ребятами. Их бабушка, Мария Сергеевна, заменила внучатам мать, и Василий очень любил тещу, называл ее мамочкой, всячески старался высказывать ей свои чувства, деньги давал ей без счета, подарки дарил без меры. Заработки у Василия Петровича были отличные, а сверх них еще и премии. То за новую марку стали, то за прибавку тоннажа, то за ускорение плавок...

Но все-таки, что там ни говори, а жить вдовцом в его еще в общем-то молодые годы не очень веселое дело. А ездить по всяким-разным курортам или бегать на лыжах по веселой извилистой женской лыжне как-то не подходило солидному сталевару.

Конечно, ему улыбались не одна и не две. И главное — из хороших, коренных рабочих семей, стоящие невесты. И можно сказать, обнадеживали своими улыбками... Но как он мог просто так на улыбку ответить улыбкой? Не в такой он рос семье. Его сызмала

научили отвечать за каждый свой поступок и относиться с уважением к каждому человеку, особенно к женщине.

Нет, не мог улыбнуться женщине «между прочим» и «просто так» хороший человек Василий Петрович Киреев. А не «между прочим» улыбнуться было тоже нельзя: дети же. А комнат две. Лучше сказать — одна, разделенная фанерной перегородкой. Как введешь жену в дом? И, кроме того, какая она ни будь, а все-таки мачеха. И каково это покажется светлой душе Марии Сергеевне? Новая жена будет напоминать теще ее умершую дочь Наташу. Значит, лишние слезы по ночам.

Нельзя. Нужно жить для детей, и нечего думать о семейном счастье.

Но счастье пришло.

В диспетчерской на заводе появилась девушка. Высокая, светловолосая, строгая. Из тех, кто с кем попало не танцует и без подружки в кино не появляется. Проводить себя не позволяет.

Крутился, правда, возле нее один смазливый молодой парень, механик заводского гаража Яков Радостин, да, кажется, напрасно.

Девушка из диспетчерской звалась Линой, полностью — Ангелина. Ее заметили на заводе сразу. Это и понятно: чем красавица строже, тем она милее, красивее и дороже. А о том, что она хороша собой, никто не спорил. Красота не требует доказательств. Она говорит сама за себя.

Василий Киреев тоже заметил девушку. Заметил так, что и другим стало ясно, как это надо понимать. Он тогда, может быть, и сам не знал, как и чем это кончится и куда все это уведет его, да Лина подсказала ему. И не сама по себе, а по материнской указке.

Василий Киреев тоже заметил девушку. Заметил так, что и другим стало ясно, как это надо понимать. Он тогда, может быть, и сам не знал, как и чем это кончится и куда все это уведет его, да Лина подсказала ему. И не сама по себе, а по материнской указке.

Мать ее, Серафима Григорьевна Ожеганова, слыла женщиной разумной и рассудительной. Ей хотелось, как она говорила, счастья для своей дочери не на одну лишь короткую медовую пору, а на всю жизнь. И еще до знакомства ее с Киреевым Серафима Григорьевна положила в надежные уши, надежным людям веские



слова, которые непременно должны были дойти до Василия Петровича. А слова были такие:

— Вот Киреев — жених так жених. Такой богатырь хоть Василисе Прекрасной и той может счастье составить.

Эти слова запали в душу Василия. Запали так, что иной раз, рассматривая кипящую плавку в печи, он видел совсем другое.

Да и Ангелина, находясь под влиянием матери, частенько забегала в мартеновский цех и украдкой любовалась, как Василий Петрович управляется с большим огнем. В слове «богатырь» есть что-то преувеличительное, но сталевару это слово в самый раз, особенно когда начинается в печи кип стали. А уж про выпуск нечего и говорить. Это уже ослепительное волшебство. При выпуске стали Киреев выглядел сказочным витязем — победителем огневого полоза, который, стремительно скользя по желобу своим нескончаемо длинным телом, перегонялся из печи в огромный ковш, поданный краном. А витязь стоит руки в боки, любуясь своей победой.

Несомненно, Яша Радостин моложе и фамилия его ласковее, нежели Киреев, зато глуше. Радостин — это что-то цветочное, одеколонное. А Киреев — это мощь. Сила. Возьмет такой Ангелину в охапку и перенесет за тридевять земель, в неизвестное ею счастье, от которого закружится голова и сладко замрет сердце.

Слегка кружится голова и у него, когда он думает об Ангелине. И кажется, все хорошо, если бы не пятнадцать лет разницы в их возрасте.

Пятнадцать лет?!

Но так ли уж это много? С годами сгладится разница. Да и теперь Ангелина, в свои двадцать два, по своей солидности, степенности выглядит старше. И прическу носит не девичью. И может быть, не случайно. Может быть, и ей хочется сгладить эту разницу лет?

Так это или нет, только однажды после дневной смены шел Василий квартал, другой, третий следом за своей мечтой, а потом хотел было свернуть в переулок... Неудобно все-таки плестись за чужой девицей, по чужим улицам. А мечта возьми да и оглянись, да улыбнись.

— Зачем же вы, Василий Петрович, сворачивать вздумали? Неужели я не стою того, чтобы вы еще немножечко за мной прошли?

Тут Василий Петрович не стал таиться — и сразу ее по имени. И по отчеству, конечно, для придания встрече большей солидности.

— Вы, Ангелина Николаевна, не только квартала, я думаю, стоите, а на край света рядом с вами дорога короткой покажется.

А она как сверкнет зубами, да как ослепит его зеленым светом своих больших глаз, да как заворкует своим веселым голосом — у него и сердце в левый сапог. Слова не может выговорить.

Василий и не заметил, когда кончилась улица. Они вышли за город.

— Теперь-то уж недалеко нам осталось, — сказала она. — Скоро дойдем.

— А куда дойдем-то? — спросил он.

— До конечной станции, — отшутилась она. — До заводского Садового городка. Я там черную смородину на днях высадила. Хочу посмотреть, принялись ли черенки.

Дошли они так до заводских садов. Осмотрели смородиновые черенки на Ангелинином участке, порадовались, что почки в лист пошли, и соседними садами стали любоваться.

Хорошо в этот вечер дышалось Василию Кирееву. Давно не пьянили его запахи весны и женская, тоже весенняя, близость. И он сказал:

— Загородное садоводство — это разумный досуг. Особенно для металлургов. Ох как славно после горячей работы вольным воздухом подышать! Хорошо бы и мне здесь участок добыть да садовый домишко срубить...

— Так кто же вам мешает, Василий Петрович? Вот, пожалуйста... Рядом с моим, самый крайний.

С этого все и началось. Началось все именно с этого.

#### IV

На другой день завкомовские садоводы отмерили положенные восемь соток Василию Петровичу да прирезали еще столько же за

знатность, за успехи в труде. А неделю спустя был найден «деловой человек», который брался за двадцать дней вывести под крышу садовый домик, пустить дым и вручить ключ хозяину.

«Деловой человек» по имени Кузьма Ключников и по прозвищу Ключ хотя и спросил «деловую цену», но Василий не стал торговаться. Хотя и дорого, зато без хлопот и быстро. Кузька Ключ, сывая в Садовом городке рвачом и выжигой, считался человеком слова: «Хоть и семь шкур дерет, а обещание выполняет в точности».

Выплатив Кузьке задаток, Василий Петрович радовался и за своих ребят. Будет где Лидочке с подружками повеселиться. Может быть, захочет свои кустики вырастить. Скажем, мичуринский виноград или даже большую тыкву для смеха. И его сыну Ванечке с Мишей Копейкиным будет куда на велосипедах сгонять и есть где велосипеды оставить, в субботнюю ночь переночевать.

Садовый домик — это во всех отношениях веселая затея.

С тех пор редкий вечер Василий и Ангелина не встречались на садовом участке. Еще было не поздно, и Киреев сумел посадить и ягодники, и яблони, которые так счастливо окоренились, зазеленев в полную силу на третью неделю.

Любовь к растениям, как вспоминает теперь Василий Петрович, проснулась вместе с любовью к Ангелине.

Как она была тогда хороша! Розовое лицо, светло-пепельные волосы. Ямочка на правой щеке и какой-то фарфоровый носик. А глаза веселые, изумрудные. Правда, в них иногда появлялась не то какая-то грусть, не то сомнение или раскаяние в чем-то...

Василию, целомудренному от природы человеку, стыдновато было рассматривать ее руки, плечи, выгиб шеи, редкостное сложение стана.

Надо же было природе выписать такие линии! С какой стороны ни глянь на них, они завораживают своей строгостью, изысканной простотой. Особенно бесподобны очертания Лины, когда она, окапывая растения, стоит освещенная солнцем!

Неужели этакая самородная прелесть может полюбить его и пренебречь таким красивым и молодым парнем, как Яшка Радостин? Нет. Пусть его красоты хватило бы на троих завидных

женихов, зато и легкомыслия тоже было достаточно на добрый десяток вертопрахов.

Нет, Яков Радостин не та фигура, которая может стать ему на пути. Пусть он мелькает на садовом участке, пусть иногда он ей шепчет о чем-то, ну и что? Нельзя же каждое лыко в строку. Да если бы даже Радостин и нравился ей, он не перестал бы любить свою прекрасную Ангелину. И как знать, может быть, она, думая о своем счастье с Василием, поторапливает его ложным вниманием к Якову Радостину? А если это так, то во всех случаях не надо медлить. Нужно как-то и что-то сказать... А вот как и что? Можно и спугнуть счастье. Торопливость и утку уводит из-под ружья, говорят охотники.

И вот настал день, когда Василий подал Ангелине ключ от своего садового домика, который был достроен в самом лучшем виде.

— Это вам, Ангелина, — сказал, чуть потупившись, Киреев.

— А зачем? — был задан пытливый вопрос.

— Ну мало ли, понимаете... Дождь вдруг польет... Или с матушкой, или, скажем, с кем другим захотите чаю напиться, глазунью поджарить... Пожалуйста. Распоряжайтесь.

— Спасибо за доверие, Василий Петрович, — ответила Ангелина, взяв из его рук ключ.

Потом она прошла к домику и открыла ключом дверь. Они вошли в единственную комнату, которая была и кухней, и столовой, и спальней. Вошли, сели за тесовый стол. Они сидели долго друг против друга и смотрели один другому в глаза.

Глазами так много было сказано, что почти не понадобилось слов, хотя и не обошлось без них. Это были простые и прямые слова, которые произносят люди, подобные Василию Кирееву.

— Дальше-то как, Лина?

— Не знаю, Василий Петрович, — ответила она. — У вас ведь дети. А я сама пока еще при матери. А мать — у родни. Своего угла тоже нет. Вот и судите.

Опять умолкли. Опять смотрели друг другу в глаза. Ангелине было очень приятно, что большой, сильный Киреев робеет перед ней. Ей

вдруг стало жаль Василия, и она, поднявшись, подошла к нему со спины и обняла его.

— Милый Василий Петрович, и я им не мать, и они мне не дети. И две тещи в одном доме тоже, так сказать, не компания.

Сказанное было сущей правдой, обойти ее было невозможно.

— Тогда хоть дайте, Линочка, я обниму вас. На этом и расстанемся.

Он обнял ее, но расстаться с ней не сумел. Это было выше его сил. Легче было умереть. И он уже дважды умирал на фронте, возвращаясь к жизни неизвестно по какому чуду. И если он дважды вернулся к жизни, так нужно прожить ее так, чтобы можно было вспомнить о прожитом. А жизнь и все ее радости заключались теперь в этих тонких руках, в этой бездонной зелени глаз, в этой доверчивости ее гибкого стана.

Это была, конечно, любовь, а не притворившееся ею влечение, которое посещало Василия в холодные годы вдовства, когда его внимание и во сне и наяву останавливали, может быть, и стоящие молодницы, да не такие, как Лина. Она будто родная тайга, такая знакомая и такая незнаемая, бескрайняя, непроходимая и манящая...

Это была любовь чистая и настоящая. Обнимая Ангелину, он боялся нечаянным, невольным движением руки оскорбить ее еще не расцветшую юность.

— Яблонька вы моя, — сказал он, — спасибо вам за эту радость. Может быть, моя любовь к вам подскажет, как правильнее решить неразрешимое...

У

Когда матери Лины стало ясно, что Киреев любит ее дочь и, кажется, тайно ревнует к молодому красавцу Радостину, она не стала раздумывать, кого предпочесть из двух кандидатов в женихи своей дочери.

Радостину был дан ею довольно понятный намек о материальной несостоятельности для начала семейной жизни: «Жених без денег — без листьев веник».

Радостин жил в общежитии. Его имущество легко укладывалось в два чемодана, а сбережения не превышали даже самых скромных расходов на свадьбу.

Но Радостин не терял надежды. Не деньги же, в самом деле, решают любовь и счастье! И не от матери Лины зависит их счастье.

Как-то в короткий рабочий день, в субботу, мать и дочь Ожегановы работали на своем садовом участке. Появился там и Яков Радостин. Он не столько помогал Ангелине, сколько смешил ее, рассказывая забавные истории, случившиеся в заводском гараже за последнюю неделю.

Киреев молча и, как заметила Серафима Григорьевна Ожеганова, нервничая рыхлил и без того разрыхленные приствольные круги пошедших в рост саженцев.

Ожеганова, наблюдая за работой Василия Петровича, перешла канавку, размежевывавшую их участки, и певуче заметила:

— Разве так окапывают, когда желают молодую яблоньку укрепить на своей земле?

— Кто как умеет, Серафима Григорьевна, тот так и укореняет, — ответил ей Киреев и посмотрел на Якова Радостина, приборанивающего граблями садовую дорожку, посыпанную песком.

Тогда Серафима Григорьевна сказала без обиняков:

— Люба, что ли, тебе Ангелина? Признавайся уж, сталевар, а я послушаю.

Киреев, воткнув в землю лопату, ответил тоже довольно прямо:

— А вам-то зачем я должен признаваться, Серафима Григорьевна?

Ожеганова ухмыльнулась, глянула исподлобья на Киреева и тихо, но внятно заметила:

— Линочка-то пока что моя веточка. Для кого захочу, для того и заставлю ее цвести.

— Вот оно что, — в свою очередь, роняя улыбку, ответил Киреев. — А я и не знал, что у вас как при царе.

На это последовало:

— При царе там или не при царе, но без царя в голове тоже худо. Меды-то всякий умеет пить, а вот пчел вести да пасеку соблюсти — не каждому по рукам. Так или нет?

— Вам виднее, Серафима Григорьевна, — отозвался примирительно Василий.

— Мне-то видно, да ты-то видишь ли, Василий Петрович? Как тебе могло в голову войти, что я могу этого самого неоперенного скворца допустить к своей дочери, когда у него, кроме посвиста, ни дупла, ни гнезда, ни скворечницы?

— Разве в этом счастье?

— В этом или нет, а без стола, без чашки-ложки не пообедаешь, без своего угла голову не приклонишь, без крыши от дождя не укроешься. Только говорится, что с милым рай в шалаше, а по жизни-то и садовый домик не жильё.

Киреев стоял, оперевшись на лопату, и слушал рассуждения Ожегановой. В них чувствовалась житейская мудрость, а вместе с нею и приятные надежды. А Серафима Григорьевна, не умолкая, очаровывала Василия:

— Попосыпает Яшка золотым песочком, поприборонивает грабельками счастливую дорожку, а кому по ней с Ангелиной идти — я решать буду. Так и знай, Василий свет Петрович. С прямым человеком и я прямая... Конечно, пораздумав, добавила Ожеганова, — и не таких матерей нынче дочери вокруг трех елок обводят, а сами под четвертой судьбу свою губят... Случается. Этого-то я хоть и не сильно боюсь, но побаиваюсь.

— И я побаиваюсь, — вдруг вырвалось откровенное признание Василия Петровича.

— Коли ты побаиваешься и я побаиваюсь, выходит, мы в одно думаем. Об одном боеем. Тогда и говорить больше не о чем. Отрубать надо веточку, да и дело с концом.

— А отрубится ли она? — слышался боязливый вопрос Киреева.

— Да уж как-нибудь... У тебя топор остер, у меня язык хитер. Вдвоем-то, глядишь, и справимся, — сказала Серафима Григорьевна и весело сверкнула-мигнула левым, с небольшой косинкой, глазом и вернулась на свой участок.

Кажется, все было предрешено. Наверняка Ожеганова до этого разговора с Василием вела не одну беседу с дочерью в его пользу.

— А отрубится ли она? — слышался боязливый вопрос Киреева.

— Да уж как-нибудь... У тебя топор остр, у меня язык хитер. Вдвоем-то, глядишь, и справимся, — сказала Серафима Григорьевна и весело сверкнула-мигнула левым, с небольшой косинкой, глазом и вернулась на свой участок.

Кажется, все было предрешено. Наверняка Ожеганова до этого разговора с Василием вела не одну беседу с дочерью в его пользу.

Теперь, что называется, оставалось не зевать, и пока кипит сталь, нужно доводить плавку до дела — и в ковш.

## VI

Яков Радостин, почувствовав, что его большая любовь и малый достаток образовали некие ножницы, способные перерезать последнюю нить надежды соединения с Линой, прибегнул к печальной крайности.

Вскоре стало известно, что в Садовом городке у военного ветерана в отставке П. П.Ветошкина угнана автомашина «Победа».

А через неделю намечался суд над похитителем этой машины Яковом Радостиным, не успевшим отъехать и ста километров от города.

Похититель был явно наивен. Преступление было явно совершено по легкомыслию. Истинных причин кражи самолюбивый Радостин, конечно, не объяснял. К тому же из гаража последовала хорошая характеристика. И что самое главное — об отмене суда над Радостиным ходатайствовал сам потерпевший П. П.Ветошкин.

Это сыграло немалую роль в решении суда. Но все же факт угона машины оставался уголовным фактом. Радостин был виновен не только перед владельцем машины Ветошкиным, но и перед обществом. Однако были приняты во внимание заявления, характеристики, чистосердечность раскаяния. Судье и заседателям стало известно и о романтической стороне проступка, которую тщательно скрывал подсудимый, боясь бросить тень на возлюбленную. И это его характеризовало тоже с хорошей стороны.



Но ему стыдно было после суда оставаться в родном городе, и он уехал в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней после суда Серафима Григорьевна позвонила Кирееву в цех:

— Можешь, Кирей Кирибеевич, приходить с букетом.

И он пришел.

Мать и дочь Ожегановы ютились в маленькой комнате у родни покойного отца Ангелины. Приехав сюда, Ожеганова, не играя с родней в прятки, сказала:

— Ангелиночке пора замуж, а там у нас, на руднике, по ее красоте и статности женихов нет. А тут город большой и выбор достаточный. Не бойтесь, — предупредила она родню, — и шесть месяцев не пройдет, как я ее выдам.

И она не обманула.

Василий Петрович пришел в черной тройке. При галстукe. Чисто бритый. Аккуратно подстриженный. Чем не жених? Высок. Широко в плечах. Легко в ходьбе. Ручищи такие, что из камня, как из творога, сыворотку выжмут. Малость подгуляло только, хотя и очень приятное, лицо. Профессиональная краснота лба, щек и кончика носа, обычная спутница сталеваров, несколько портила картину. А что сделаешь? Работа огневая, не всегда и брови убережешь — подпаливаются. Зато денежная работа. Это и по одежде видно, и по подарку заметно. Он принес ни много ни мало две пары серег, три брошки, часы-браслет и серебряные с позолотой сахарные щипчики. Что попало под руку в ювелирном, то и купил.

Войдя и поздоровавшись, он не стал тянуть и сказал Серафиме Григорьевне при всей ожегановской родне так:

— Мои чувства к вашей дочери Ангелине Николаевне известны, наверно, не только вам, но и всему заводу... Так что я, понимаете, пришел выяснить окончательно ваши ко мне отношения и спросить, согласна ли Ангелина Николаевна стать моей супругой.

Мать посмотрела на дочь, и та, вспыхнув, вполголоса спросила:

— Так уж сразу и отвечать?..

— А почему бы и не сразу? — сказала Серафима Григорьевна.

— Но все-таки... Я хотя и готова к этому ответу, но жить-то где?

На это Василий сказал:

— Мне, Линочка, понимаете, тридцать семь... И я, прежде чем сделать такое ответственное предложение, объяснил в дирекции завода и в завкоме мое семейное положение. И мне сказали, что на той же неделе могут дать квартиру. Отдельную. Две комнаты. А если, понимаете, две комнаты мне покажутся тесноватой квартирой и я захочу, сказали мне там, то они могут помочь мне возвести коттедж личного пользования. За мои любезные, но с их долгосрочной ссудой и предоставлением некоторых материалов.

— Свой-то бы дом лучше, — перебила Серафима Григорьевна. — Горновой Бажутин со Стародоменного вон какую домину в Садовом городке сгрохал. А чем хуже его знатный сталевар Киреев?

— Ну, так у Бажутиных не семья, а коммуна. Столько работников — они горы свернут, — заметил Василий. — Да им никак и нельзя без большого дома.

— Это так, — не стала спорить Серафима Григорьевна. — Но и малой семье в своем доме не худо. Квартира — она и есть квартира. А дом — это дом. И луковую грядку можно посадить, и кур завести, а если охота будет, то и боровка в клетушку запереть. Соглашайся на дом, Василий Петрович.

— Мама, — остановила ее Ангелина, — так сначала же главный вопрос надо решить, а потом уж и о доме говорить...

— А главный-то вопрос твои щеки решили. Вон как горят. Подойди к жениху да уткнись в его широкую грудь. Стоит он того. А слова говорить не будем. Лучше посмотрим, что за коробочка у него, которая, видать, ему руки жжет.

— Мама! — оговорила Ангелина мать. — Всему же есть край!.. Я согласна, Василий Петрович, — сказала она Кирееву и подошла к нему и припала, как велела мать, к его широкой груди.

— Большого я ничего и не желаю, Линочка, — сказал Киреев. — Спасибо, что так все просто и хорошо. Это для вас. Наверно, глупости купил. Зато ото всей души, от чистого сердца.

— Э-э-э! — удивилась Серафима Григорьевна, рассматривая серьги, броши и часы. — По-царски ты, парень... Только не

следовало бы такие деньги бросать, если ты дом строить собрался. Теперь каждый рубль считать надо.

— Мама! — еще раз остановила ее дочь. — Нельзя же так...

На столе как-то сами собой появились закуски и то, что предшествует им. Сели всей новой родней за стол. Пригласили и тещу по первой, покойной жене Василия — Марию Сергеевну.

— Что ж, — сказала она, — от жизни не уйдешь. Поздравляю тебя, Василий, и тебя, Ангелина. Желаю вам счастья.

Так началась вторая семейная жизнь Василия Петровича Киреева.

Вскоре он переехал на временную квартиру, предоставленную дирекцией большого металлургического завода. Старая семья — Ваня, Лида и Мария Сергеевна — остались в прежней квартире. И все это находили правильным. Дети уже подросли. Они были привязаны к Марии Сергеевне, а что касается некоторых тонкостей переживаний, особенно младшей, Лидочки, то тут уже ничего не поделаешь. Это неизбежно. И Лидочка понимала, что, любя отца, нельзя желать ему пожизненного вдовства.

Дом решено было строить рядом с садовыми участками. Земельные власти отвели Кирееву пятнадцать соток земли, примыкающей к садовым шестнадцати соткам. Не отбирать же их.

К тому же Серафима Григорьевна резонно доказывала:

— Если бы мы не строили дом, так садовые-то сотки были бы нашими. Зачем же мы теперь должны попускаться ими?..

И землеустроители не стали спорить. Принималось во внимание и то, что Василий Киреев был «фондовым» рабочим, и если какие-то там сотки в нарушение закона окажутся лишними, то невелик грех, Киреев за день возместит эту земельную поблажку сверхплановой сталью.

Василий задумался над этими поблажками. Куда ему столько земли?.. А тещенька, умница-разумница-наставница, опять на Бажутиных кивнула. У них и спортивная площадка, и лагерь палаточный для гостей, и баня... говорилось и о том, что при малом участке куда ни ткни — везде изгородь рядом. Кашляни — у соседа слышно. В своем доме — не как в коммунальной квартире.

Живешь будто в витрине магазина — в исподнем во двор не выйдешь.

И это верно. Уж городить так городить. Натура у Василия Петровича широкая. Знакомых много. Будет где гостям разгуляться. Не для себя же лично это все. То Юдин с семьей, то Веснин, то подручные пожалуют в подвыходной. Приезжай! Милости просим! Ешь, пей, закусывай! Хоть хоровод затевай... Да и у детей своя компания. Тоже надо где-то и в городки поиграть, и мяч побросать. Весело будет у него, как у Бажутиных. Сирени можно насадить, цветы развести — ни один гость без букета домой не уедет, без ягод не погостит. Особенно ребята. Жалко, что ли? Лакомься, рви, а такой, как Афоня Юдин, может и варенье сварить у него. Пожалуйста...

Малина, смородина что твой сорняк: воткни черенок, вкопай корень — вот тебе и ягоды. Работы на вечер, а удовольствия не на один год.

Нет, не для себя Василий Петрович берет такой большой участок. Жил он с людьми, для людей все эти годы — так и будет жить...

...Весело начиналось строительство дома. Радостно было ходить Василию по такому большому и такому милому сердцу участку. Любо было ему копать ямки, а затем ставить в них и утрамбовывать со щебенкой столбы будущей ограды.

Большой дом вырастет у Василия Петровича. На всех хватит. Летом здесь, как на даче, будут жить его дочка Лидочка и сын Ванечка.

С улыбкой засыпал Василий Петрович рядом с милой Линочкой. Счастливым просыпался он, любуясь робко зацветающей женской красотой...

Ах!.. Маловаты листки, коротковаты строчки для этой большой любви хорошего человека Василия Петровича, превосходного сталевара Киреева, нежного мужа и покорного зятя. И ста страниц неостанет, чтобы рассказать на них, как пришло счастье в большое и чистое сердце, истосковавшееся по любви...

## VII

Дирекция завода помогла возведению дома, но Василию Петровичу, и Лине, и Серафиме Григорьевне досталось строительство нелегко. В замысле всякий дом кажется прост и

дешев, а стоит начать, как появятся такие трудности, такие расходы, которые никак нельзя было предвидеть.

Не обошлось и без услуг Кузьки Ключа. Не все легко и просто можно достать. А Ключу только скажи — из-под земли вырвет, со дна моря достанет. На пустом лесном складе для него и тес и доски. У кого-то перебой с материалами, а у Кузьмы Наумовича Ключникова всегда полный ассортимент. Конечно, за это особая плата. И если она кажется высокой, то Ключ не навязывается, можете сами достать, если достанете.

В большую копеечку влетело строительство. Пришлось кое-что попродать, кое-где призанять. Почти два года строил дом Василий Петрович. Работал вечерами, прихватывал ночи, не знал выходных. Ангелина не отставала от мужа, трудилась не покладая рук. Муж — за одну ручку пилы, жена — за другую. Только земли да шлаку перетаскала она на чердак тысячи ведер. Одной замазки вымазала она добрых две старые квашни. На каждую работу не наймешь со стороны. Ссуда ссудой, заработки заработками, но и у них есть дно...

Возьмите вы тех же стекольщиков-«леваков». Они готовы раздеть-разуть, особенно когда дело идет к осени. Вот и приходится самим. А центральное отопление? Не нанимать же слесарей, если есть свои руки. Мелкие трубы Лина нарезает, крупные — он, а монтаж ведут вместе. Кажется, просто, а не легко. Поворочай радиаторы, погоняй сгоны, понавертывай сотни муфт, погни «утки» — подводки к батареям... Хочется-то ведь как лучше. А это «лучше» требует и рук и времени.

Простое, кажется, дело — окраска дверей и окон. Простое, если одно окно или одна дверь. А попробуй во всем доме произвести окраску. Даже малой кистью так намахаешься, что своя-то кисть руки готова отвалиться к вечеру. И красить надо тоже не как попало. Не сухо, не сыро. Без ласин и слез. Заслезилась дверь — вот тебе и счищай весь слой. Снова подшпаклевывай да снова крась. А хватки малярной у него нет, а уж про Линочку-то и говорить нечего. Но стараются, работают и учатся на ходу. Для своего ведь гнезда. Хоть и устает Василий, работая за полночь, зато сколько радости любоваться на белую дверь, на застекленную раму, ощутить первое тепло тобой же установленной батареей центрального отопления и ступать босыми ногами по ласковым

сосновым половицам. Забудешь, ходя по ним, как они были добыты, с какими трудами настланы и что за них заплачено.

А пахнет-то, пахнет-то как от стен. Будто в бору, а то и на Пицунде, где когда-то любовался древнейшими соснами Василий Киреев.

Или взять печь. Конечно, можно было сложить плиту с духовкой. Но русская печь привычнее Серафиме Григорьевне. И пироги в ней как пироги, а в случае чего и окорок можно запечь. Круглый день тепло. Обед не разогревай, щи так славно томятся в вольном жару. Начнешь их есть — горшком пахнут. Какая прелесть! Ну а плита при русской печи — сама собой. Под шестком. Нужно скороварку, скородумку по летней поре, сунул щепу в подтопок — и пожалуйста.

В доме Василия Петровича все предусмотрено Серафимой Григорьевной. И кладовки, и чуланы, и подпол, и сенцы, и две комнаты для Ивана с Лидией.

Случалось, конечно, что эта предприимчивая тороватость хлопотуньи Серафимы Григорьевны претила Василию, шибала в нос кержацким скопидомством, кулацкой запасливостью. Бывало, и семейно спорили. Спорили не то чтобы пыль до потолка, а семейно — на степенной основе. И всегда получалось так, что Василий напрасно начинал прения.

Если кур завели, то как им жить без курятника! Или свинье — без свинарника. Можно, конечно, и не заводить кур, только зачем в городе яйца покупать? Вози их. Да береги, чтобы не раздавить. А тут они под рукой и всегда свеженькие. Без штемпеля знаешь, какого числа снесены. То же и свинина. Сколько после обеда всякого добра остается! Не вываливать же в помойку? Или, того смешнее, не отдавать же это все чужой свинье. И если опять взять в рассуждение коренных коммунистов Бажутиных. Покойный Корней Бажутин чуть ли не с пятого года в партии состоял, а Евграф даже член бюро, а свою свинью держит, и никто даже не думает на вид ставить или намекать на какие-то там разные кержацкие, кулацкие замашки.

Жизнь — это жизнь. И если ты живой человек, то как ты можешь обойтись без бани! Ванна, душ — это ж купание, а баня — мытье, все тело с богом разговаривает, и все хвори выпариваются.

Не Серафима же Григорьевна придумала баню. Уж на что царей взять всякие брызгальные фонтаны могли завести, а мылись в

бане. И уж если такой дом срублен, то смешно поодаль от него баньку не поставить. Хоть бы два метра на три. Самую крохотную. Без предбанника.

И опять здравый смысл на тещиной стороне. Только два на три метра это не баня, а собачья конура. Три на четыре — это еще можно терпеть. И постирать есть где. И все такое. Зимой тоже лыжи с палками надо куда-то поставить. Не в дом же тащить.

Себе Серафима Григорьевна, как ее ни упрашивали, взяла комнатку самую маленькую. «Мне не телиться», — заявила она Василию Петровичу, и тот высоко оценил скромность новой тещи, все более и более доверяясь ей и советуясь с ней о каждом своем шаге. А Серафима Григорьевна, всячески ублажая своего зятя, затмевала его первую тещу Марию Сергеевну. Хоть и знала Серафима Григорьевна, что Мария Сергеевна не будет жить в новой семье Василия, а предусмотрела место и для нее.

Если захочет она пожить с внучками Ванечкой и Лидочкой на даче милости просим, хлеб да соль.

Тягостными были дни строительства дома, да хороши награды за труды.

Каждая скобочка улыбается Василию Петровичу, каждый сучок стеного бревна подмигивает. А дом побрякивает, осаживается. Всякое бревно в своем пазу паклю уплотняет, тепло бережет.

Стены рублены хотя и по-старому, а все в доме по-новому, на уровне новейшей санитарной техники. Даже вместо выгребной ямы специальный резервуар с дозатором и рассасыванием смывных вод по дренам в верхних почвенных слоях. Дважды разумно: и за выгреб платить не надо, а растения получают добавочную подкормку.

Жить да радоваться. Любоваться молодым садом. Наслаждаться, глядячи в изумрудные глаза своей женушки. Гладить нежный пепел ее волос. А на работе побольше отдавать внимания своей мартеновской печи. Годы строительства дома поубавили его сталеварскую славу...

Маловато занимался он и сыном Иваном. А ведь он продолжатель отцовского дела. Будущий сталевар. В заводе на хорошем слуху. Пусть не делегатом, а всего лишь гостем, но все же он был в

Большом Кремлевском дворце на Всесоюзном слете трудовой юности. На слете передовиков, соревнующихся за звание ударников и бригад коммунистического труда. Передовой, значит, парень. Вот только дома тише воды, ниже травы. По всему видно — что-то в доме ему не по душе. Но молчит. В чем дело? Надо как-нибудь поговорить с сыном начистоту и о семейных и о заводских делах...

Впрочем, о заводских делах Иван не молчал. Недавно прямо сказал отцу:

— Пап! Нам новую печь отдают. В полное наше распоряжение. А распоряжаться некому. Тебя комсомольцы хотят. И в дирекции тебя, пап, называют. «Пора, говорят, уж...»

— Что пора-то? — насторожился тогда Василий Петрович.

— «Пора, говорят, заводу внимание уделять...»

Это прозвучало как упрек. Как справедливый упрек. Конечно, давно пора кончать с домоустроительством. Надо бы постоять у печи с сыном и с его дружкой Мишей Копейкиным. И вообще заняться молодежью в цехе, как он это делал всегда. Да нет времени. То весенние работы в саду, то подготовка к зиме. Дрова, уголь и все такое... Добудь, доставь, сложи. Пустое дело свинарник утеплять, а месяца нет. Вот и теперь: осталось только опрыснуть кусты и деревья, а тут — бац! — губка! Грибок! И снова все к чертовой этой самой... в тартарары!..

— Ангелина! За что же это все, моя милая? — жалуется ей Василий. Неужели, понимаешь, опять в колья-мялья и снова за пилу, за топор? Шутка ли — вырубить полы, подвести новые венцы... В месяц не уложишься... А деньги? Долги еще не выплачены. Крыша покраски требует. Электрическую линию нужно менять. А это все немалый расход, особенно если поручить работу пройдохе Кузьке Ключу. Глаза бы его не видели, а как обойтись без него? Для этого Ключа ничего нет запретного. Все откроет, все найдет и рабочую силу добудет на полном законном основании.

Ангелина молчит и слушает мужа. Потому что ей нечего ответить ему и нечем помочь. Да и какие бы слова ни сказала она, все равно полы и венцы нужно менять, крышу красить, тянуть вместо временных новые провода. И от этого никуда не уйдешь, так же как не обойдешься без Кузьки Ключа.



Лина молча хлопает ресницами, разглядывает свои обветренные и погрубевшие на работе руки и потом советует:

— Может, садовый домик продать? Или «Москвича»? Все равно старенький.

Эти мысли приходили в голову и Василию Петровичу. Но как можно расстаться с «Москвичом» и ежедневно ходить два километра до трамвайной остановки, а потом минут сорок стоять в переполненном вагоне? Это же потеря добрых двух часов в день. А на «Москвиче» сел — и через двадцать минут на заводе. Час сорок минут — разница. А за этот час и сорок минут многое можно сделать в своем хозяйстве.

Нельзя было продать и садовый домик. Как можно было оторвать Прохора Кузьмича Копейкина от любимых садовых занятий? К тому же у Копейкина без малого шесть лет прожил в сиротские годы Василий, а теперь сам же упросил Прохора Кузьмича поселиться в этом домике.

На этой странице нужно бы подробнее рассказать о старике и старухе Копейкиных, об их появлении в садовом домике, об их внуке Мише и другой родне. Но теперь пока не до них. Вернемся к невеселым раздумьям Василия Петровича.

Нет, нельзя продать садовый домик, окончательно решил Василий. Ведь вместе с этим домиком нужно было отдать участок, на котором буйно цвели яблони и так хорошо плодоносили кусты новейшего сорта черной смородины «Лия-великан». Кроме того, пришлось бы лишиться пристроенного к дому курятника и вольера для кур из отличной сетки.

Так поступить было никак невозможно.

Вечер прошел в еще более тоскливом раздумье. Не радовал обещающий хорошее утро закат. Не успокоила веселая чекушка водки, а за нею и другая, принесенная стариком Копейкиным.

— Уляжется, ушомкается, — утешал Прохор Кузьмич, — все станет на свое место.

Но этого пока даже не предвиделось. Ночь прошла почти без сна. Лина украдкой плакала.

Не такая простая штука домовый грибок...

## VIII

На другой день, в понедельник, Василий Петрович работал озлобленно. Ожесточенно. Широко размахиваясь, он кидал большой лопатой в зев мартеновской печи вместе с добавками и свои думы о доме. А они, эти черные думы, не сгорая, возвращались из печи в голову Василия нагретыми, нестерпимо и беспощадно воспаляя ее...

Работа и на этот раз не заглушала его горя.

Не такая простая штука доменной грибок...

## VIII

На другой день, в понедельник, Василий Петрович работал озлобленно. Ожесточенно. Широко размахиваясь, он кидал большой лопатой в зев мартеновской печи вместе с добавками и свои думы о доме. А они, эти черные думы, не сгорая, возвращались из печи в голову Василия нагретыми, нестерпимо и беспощадно воспаляя ее...

Работа и на этот раз не заглушала его горя.

Василий не замечал, как неподалеку от него стоит и откровенно любит им его товарищ по саперному батальону Аркадий Михайлович Баранов. Они не виделись более пятнадцати лет. В давней переписке друзья редкий год не давали обещания встретиться где-нибудь на берегу Черного моря или провести отпуск здесь, на Урале. Побродить. Порыбачить. Вспомнить «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»... Да все как-то эта встреча переносилась из года в год. А нынче случилось так, что Аркадий приехал в этот большой город, где ему предстояло жить и работать.

Прямо с вокзала Баранов, оставив вещи в камере хранения, направился по старому адресу Киреева и, узнав, что Василий на заводе, не стал откладывать встречу на вечер.

— Никак, Василий Петрович, этот товарищ к тебе. Судя по всему — это корреспондент из газеты, — предупредил Киреева его первый подручный Андрей Ласточкин.

Василий даже не пожелал оглянуться, орудуя лопатой. Ему хотелось устать, вымотаться. Но Ласточкин опять обратился к нему:

— А может, из министерства?

— Да ну тебя, понимаешь... — огрызнулся Киреев, а потом все-таки оглянулся.

Лопата выпала из его рук. Он заорал на весь цех, заглушая гул пламени:

— Аркадий! Неужели это ты?..

Они заключили друг друга в долгие объятия. Светлому костюму Баранова угрожала гибель. Едва ли химическая чистка снимет коричневый отпечаток пятерни Василия на спине пиджака Аркадия Михайловича. Но разве тот или другой могли думать об этом? Разве могли об этом думать два фронтовых товарища, поочередно спасавшие один другого от верной смерти?

Печь была оставлена на первого подручного. Ласточкин уже не раз подменял Киреева и был созревшим сталеваром.

Найдя в цехе уголок, где потише, друзья наскоро переговорили, как и зачем приехал Баранов, и Василий потребовал:

— Немедленно ко мне! Такси за углом. Вот записка теще.

Баранов попробовал отказаться:

— Стесню. В гостинице удобнее. Сегодня же приеду. Проведем вместе вечер.

Но Василий был неумолим:

— Ты что? Разве это возможно?.. У меня же, понимаешь, дом в сорок хором. Разве я могу допустить?.. Не обижай. Да и, кроме того, ты теперь, понимаешь, нужен мне...

— И ты мне, Василий, тоже нужен.

— Ну вот, видишь... По рукам?

Иначе не могло и быть.

— Еду!

— Такси за углом, — еще раз напомнил Киреев.

Домовая губка мигом вылетела из головы. Встреча развеяла мрачное состояние Василия. Баранов всегда был добрым

советчиком. Даже заочно. В письмах. С ним советовался Василий и перед тем, как вступить в брак с Линой.

Он и теперь наверняка поможет.

Плавка пошла веселее. Вслед за оживившимся сталеваром оживленнее заработали и подручные.

Им хотелось верить, что наступает перелом в работе Василия Петровича, что киреевская бригада снова засверкает на заводе и не их, а они будут брать на буксир товарищей.

Когда-то успехи сталевара Киреева в общем итоге выплавки по цеху покрывали отставание некоторых других. А теперь нередко приходится другим покрывать недоданное Киреевым. Хотя одна печь и не делает погоды, но ее успех или неудачи сказываются — и довольно заметно — на выполнении заводского плана.

Большой металлургический завод, где работал Василий Петрович, принадлежал к старым уральским заводам, хотя от старого теперь не осталось и фундамента. Начав реконструироваться еще в тридцатых годах, завод достраивался, перестраивался, расширялся и, далеко перешагнув свои прежние границы, вырос в могучее передовое предприятие.

Металл, как известно, был и остается показательнейшим мериллом роста промышленности. Особенно тяжелой. По цифрам выплавки чугуна и стали всегда можно судить об уровне роста ведущих отраслей народного хозяйства.

И как бы много ни было у нас доменных и мартеновских печей, все же задувка каждой новой печи становится не только событием завода, где она появилась, но и заметным явлением в стране.

Взять, например, мартеновскую печь, на которой работает наш Василий Петрович. Каждая ее плавка составляет в среднем триста пятьдесят тонн стали. Нетрудно, переведя эту сталь в металлические изделия, представить, что можно произвести из этих трехсот пятидесяти тонн!

На страницах романа не принято заниматься техническими описаниями и экономическими расчетами. Однако же если техника и экономика становятся лидерами трудовой жизни нашей страны, то как обойтись без них?

Современная сталеплавильная печь — сложнейшее и громаднейшее сооружение. То, что мы видим в кинохронике или на страницах журналов, где нередко показывают работу сталеваров, — это чаще всего заслонка печи, снятая крупным планом, или ее желоб, по которому мчится слепящий поток сваренной стали. Но это всего лишь, говоря фигурально, электрическая лампочка, по которой нельзя составить представление об электрической станции.

Высокая механизация, а за последние годы и автоматизация сталеплавильного дела не заменили сталевара, его умения, его мастерства, а иногда и особой одаренности в производстве стали. Пусть нет в наши дни каких-то «тайн» в плавке металла, пусть приборы, вспомогательные механизмы, автоматические устройства значительно помогают сталевару и облегчают его труд. Но и теперь сталевар остается магом и волшебником, творцом и художником в искусстве производства стали, особенно редких марок специального назначения.

Сталь испокон веков была предметом легенд, сказов, таинственных историй. Сталеплавильное дело, процессы в мартеновской печи, кристаллизация стали при остывании слитков до сих пор еще хранят немало «белых пятен».

Так только кажется, что стоит мартеновскую печь залить жидким чугуном, завалить вышедшим в лом металлом, дать необходимые по рецептуре той или иной марки стали добавки — и все.

Нет. Как и любое мастерство, сталеплавильное дело требует не одной лишь квалификации, но и вдохновения.

Вот и сейчас, уже в первой половине плавки, было видно, что выпуск металла мартеновской печи Василия опередит плановое время. Зря толкуют некоторые шибко умные говоруны, что техника — это одно, а человеческая душа — другое. Можно, конечно, доказывать, что жар человеческой души не помогает плавке. Можно! Однако всякий коренной мастер, будь он сталеваром или кузнецом, знает, какому теплу обязаны его удачи. Не зря же говорится, что без «струмента» и блохи не убьешь, без души и гвоздя не скуешь.

Василий, безусловно, был в своем деле поэтом. Пусть муза большого внутреннего огня за последние годы редко посещала его, но сегодня он будет неразлучен с нею. Она не оставит его.

Так веселее же гуди, пламя! Закипай, милая! Гуляй, золотая, огневая пурга! Варись, нержавеющей, нетемнеющая... А потом разлейся, бесценная! Остынь дорогими слитками. Стань добрыми изделиями! Радуй, любимая-несравненная, людей! Так кипи же, кипи-закипай, красавица, веселей в честь дорогого фронтового дружка-товарища, распрекрасного мужика Аркадия Михайловича!

— Эй, Андрей! Кинь еще десяток лопат и прибавь факел...

Андрей Ласточкин выполняет приказание. Таким он давным-давно не видел Василия Петровича Киреева. Радуется молодой коммунист Ласточкин «классной» плавочке. Верит, горячая голова, в крутой подъем умолкнувшей славы. Верят и остальные, вместе с первым подручным любуясь одухотворенным лицом Василия Петровича, любуясь веселым словом его команды.

— Значит, пойдет дело...

Нет, Андрей Ласточкин! Это преждевременная радость. Домовой грибок очень серьезное заболевание...

IX

Добраться на такси до Садового городка не составило труда и не заняло много времени. Аркадий Михайлович сразу узнал дом Василия по снимку, который был прислан ему в прошлом году.

Серафима Григорьевна также сразу узнала Баранова. Тоже по снимку. Даже не по одному.

— Милости прошу, — пригласила она его и начала расспрашивать: — Какими судьбами? Надолго ли?

Узнав, что Баранов собирается провести у них свой отпуск, она не выразила большого удовольствия. Зато приезду Баранова невыразимо радовался Прохор Кузьмич Копейкин. Они тоже были знакомы по письмам к Василию. Симпатизируя друг другу заочно, очно они подружились сразу же, что называется, «по гроб жизни».

Пока Баранов переодевался с дороги в отведенной ему на втором этаже светелке, Серафима Григорьевна принялась изрекать:

— Несчастья, как и болезни, редко приходят в одиночку. Сегодня ни с того ни с сего обезножела коза. Будто кто ей подсек ноги. Еле вывели ее с Лидкой на луг. Вчера ночью хорь в курятник подрылся, молодую несущку сожрал. А теперь дружок у Василия Петровича обнаружился.

— Серафима Григорьевна, — увещевал Копейкин, — нельзя же все это на одну нитку низать. Аркадий Михайлович Васю без чувств с минного поля вынес, от смерти спас.

— Я ничего не говорю против этого, Прохор Кузьмич. Только до гостей ли теперь нам...

Серафима Григорьевна, опасаясь при Копейкине выразить недовольство приездом гостя, перешла к разговорам о работах в саду.

Аркадий Михайлович Баранов, одноклассник Василия Петровича, познакомился с ним в первый год войны и провоевал вместе, с небольшими госпитальными промежутками, более трех лет.

Тот и другой служили в саперных частях. Тот и другой подрывались на минах.

После войны Баранов работал в партийных органах Курска, Воронежа, потом в главке, потом где-то еще, а кем именно — Баранов не уточнял. Поэтому в семье Киреевых его и знали главным образом по фронтовым фотографическим снимкам, где он и Василий то в шинелях и шапках, то в гимнастерках и пилотках были сняты на привалах, в строю, во время вручения орденов и на вокзале, при расставании. Баранов Серафиме Григорьевне и Ангелине представлялся военным человеком.

А теперь он приехал совсем другим. Только лицо оставалось тем же, что и на снимках. Моложавое лицо. Улыбчатое, но со строжинкой. И глаза простые, но зоркие. «Проскваживающие такие глаза», — как их определила Ожеганова.

Нельзя было составить о нем суждения и по одежде. С одной стороны, как будто все по моде, до последней пуговицы и ботинка с узким носком. А с другой — это все было как бы для порядка, а не по существу. Едва ли он замечал, что на нем, как сшито и скроено. Бывают такие люди, которым не до себя...

Напившись чаю и подзакусив, Баранов попросил Серафиму Григорьевну показать ему, так сказать, владения.

Серафима Григорьевна, польщенная вниманием к хозяйству, которое она считала своим личным, повела за собой Баранова и начала с сада.

Х

Хотя Серафиме Григорьевне и было без пяти минут сорок шесть годиков, она все еще не переставала баловать себя молодящими нарядами и прибавлять бедрам крахмальную пышность. Не теряла Ангелинина мамаша виды на возможные перспективы. Надеялась. Вот и теперь она выпестрилась в цветастое. Как бы из уважения к зятеву товарищу, а также в смысле «знай наших».

Если бы не начавшие стекленеть и жухнуть зеленые глаза, если бы не провал щек и предательская дряблость кожи, то еще бы она могла покуковать годок-другой-третий, а там бы видно было. Ее плечи можно и по сей день показывать на люди. На суставах рук еще и не думают завязываться старческие узлы. И сумей бы она бросить свои заботы да поднакопить где-нибудь в Сочи пять-шесть кило веса, то при ее-то среднем росте да при складном костяке можно и в обтяжном походить, и покрасоваться на высоком каблуке. Нога у нее меньше дочерниной. Тридцать третий номер. Редкие копытца... Ну да что об этом вздыхать! Либо хозяйство вести, либо себя блюсти. Эти два зайца бегут в разные стороны. Но тем не менее...

Тем не менее почему же не набить себе цену затейливым фасоном, ладной вытачкой, модной складочкой? Почему не подкрасить проседь? Химия — добрая чудесница. Обо всех заботится. На все у нее своя продукция. Даже уши можно так подрозовить, что и растворителем не смоешь.

Это к слову. А теперь по ходу дела.

— У нас, Аркадий Михайлович, изволите видеть, два сада. Даже три, разгороженные в один. Это вот старые сады. Бывшие садовые участки — дочкин и зятев. Тут уже яблоки были, а смородины — не обобрать. С малиной тоже еле справились. А это, прошу вас, новый сад. Его мы заложили, как начаться строительству.

Так говорила Ожеганова, показывая себя и свои владения.



Баранова неожиданно заинтересовала неизвестная для него плантация:

— А это что, Серафима Григорьевна?

— Смородиновый питомничек, — ответила она. — Кустики из черенков выращиваем.

Аркадий Михайлович остановился:

— Интересно. Тут, я думаю, их никак не меньше пятиста.

— Нет, тысяча двести, — поправила Серафима.

— Куда же столько? — спросил в простоте Баранов.

— Ну, так ведь тому куст, другому два... Глядишь, и две тысячи кустов не цифра. А смородина редкая, «Лия-великан». Не поверите, чуть не по волоцкому ореху случаются ягоды. Разбирают эти кусты, только успевай выкапывай...

— Торгуете, стало быть, кустиками?

Ожеганова замялась:

— Торговать не торгуем, а услуги оказываем. Конечно, кое с кого приходится и деньгами брать... Дом-то ведь выпил нас, Аркадий Михайлович. Вот и приходится тишком от Василия Петровича то смородиновыми кустиками лишнюю копейку добыть, то цветами крышу покрасить. Помогать ведь надо хозяину. Жалеть надо его. Так вот я и свожу концы с концами. Да и зачем же земле даром пропадать? Негосударственно.

— Ну, так ведь тому куст, другому два... Глядишь, и две тысячи кустов не цифра. А смородина редкая, «Лия-великан». Не поверите, чуть не по волоцкому ореху случаются ягоды. Разбирают эти кусты, только успевай выкапывай...

— Торгуете, стало быть, кустиками?

Ожеганова замялась:

— Торговать не торгуем, а услуги оказываем. Конечно, кое с кого приходится и деньгами брать... Дом-то ведь выпил нас, Аркадий Михайлович. Вот и приходится тишком от Василия Петровича то смородиновыми кустиками лишнюю копейку добыть, то цветами крышу покрасить. Помогать ведь надо хозяину. Жалеть надо его.

Так вот я и свожу концы с концами. Да и зачем же земле даром пропадать? Негосударственно.

— Что и говорить, — усмехнувшись, согласился Баранов. — А это? — обратил он внимание на вольтер, где расхаживали белые куры.

— Курицы, Аркадий Михайлович. Неужели вы такой уж городской житель, что кур не признали?

— Пока еще курицу с голубем не путаю. Просто удивился количеству. Двадцать?

— Тридцать одна. Теперь-то уж двадцать восемь осталось. Одну хорь наемни прикончил, а сегодня двух в вашу честь жарим.

— Я очень сожалею, — сказал Баранов. — Но и двадцать восемь кур тоже лишковато.

— Да кто его знает, Аркадий Михайлович... Но ведь если разобраться и вдуматься, то получится: что за десятком ходить, что — за тремя. Да и нагрузка на петуха правильная, — попыталась она пошутить, но Баранов не принял шутки.

Они пошли дальше. Возле сараюшки послышалось хрюканье.

— Ого! Значит, и свиноферма своя, Серафима Григорьевна! Сколько их у вас?

— Трое.

— Правильно. Что за одной свинкой ходить, что — за тремя.

— Вот именно, Аркадий Михайлович. Золотые слова! Свое мясо едим, свои окорока солим.

В это время из свинарника на прогулочный дворик, огражденный высокой балясниковой изгородью, вышла огромная свинья с доброй дюжиной поросят. Белая, холеная, отличная свинья. Аристократка. Из столбовых. Не без английских кровей красавица.

Баранов залюбовался степенностью, неторопливостью животного, переступавшего своими короткими ножками с достоинством обладательницы великолепных, рожденных словно специально для кинематографа, розовых поросят.

— У вас, стало быть, и свиноматка своя?

— Да еще какая! Редкостная. Золотую могла бы получить. Да не хочу. И без того завистников достаточно.

— А зачем она вам, эта свиноматка, Серафима Григорьевна?

— Вот вам и здравствуйте! — удивилась Ожеганова и тут же разъяснила: Каждый год поросят не напокупаешься. Да и какие попадут... Купишь за скороспелых, а тебе такой мусор продадут, что за год и пудового боровка не выкормишь. А это уже свой завод. Точно знаешь, какой приплод, какой привес.

— Да, тут уже не может быть ошибки, — не без ехидства согласился Баранов. — Но приплод слишком велик. С ним много хлопот. Вам для откорма нужно не больше двух, а остальных куда?

Серафима Григорьевна весело расхохоталась:

— Были бы поросята, а поросятники находятся! То кровельщикам пару боровков, то за доставку досок свинку. Мало ли дыр-то при своем доме! Хоть бы то же сено для коз взять. Что ни поросенок, то воз. У окрестных колхозов такой породы нет, а у меня она есть. Ты мне — сено, я тебе — редкую породу.

— Так у вас и козы свои?

— Да. Тоже редкие козы, Аркадий Михайлович. Помесь с пензенскими. И молока невпроед, и пуху не вычешешь. Не хуже гагачьего. Такие шали у Ангелиночки получаются, что в перстенок можно продеть. Она теперь не работает у меня. Да и зачем? Шаль свяжет — вот тебе и месячное жалованье в диспетчерской. А долго ль шаль связать?

— Ну да, конечно. И ездить на завод не надо... А Василий согласился на уход Ангелины Николаевны с работы? — спросил Баранов.

— Какое там согласился? Возражал. И круто возражал, — степенно объясняла Серафима Григорьевна. — Ну да ведь он у нас человек логический и здравомыслимый. Умные слова от него не отскакивают. Я подсчитала ему, во что выливается это все и в рублях и в часах:

— И он понял?

— Понять, может, и не совсем понял, а спорить не стал. Не стал свою точку защищать.

«И я не буду спорить и защищать свою точку», — решил про себя Баранов, желая лучше узнать и понять эту расторопную женщину с мягким голосом и твердым характером. А Серафима Григорьевна, поощренная интересом Баранова к ее хозяйству, расхваливала своих коз, приплод от которых тоже не шел «вразрез целесообразности жизни».

— Пруд-то Василию Петровичу козлята да поросята вырыли.

— Какой пруд? — изумился Аркадий Михайлович.

— Милости прошу, — пригласила Ожеганова. — Форменный рыбий садок. Извольте посмотреть.

Она подвела Баранова к прямоугольному водоему длиной до пятнадцати и шириной примерно до десяти или более метров. Вода водоема была прозрачна. Не напрягаясь можно было увидеть крупных рыб и молодь. Это были преимущественно карпы.

— Часами Василий Петрович на рыбу любит. И нет для него лучшего развлечения, чем кормить ее. Киньте-ка вы им, Аркадий Михайлович, корочку... вот на столбике сохнет. Да посмотрите, что будет.

Баранов последовал совету Ожегановой. И как только хлебная корка оказалась в воде, началось невероятное. Одна, другая... Десяток... Два десятка мелкой и крупной рыбы ловчились схватить черствую корочку.

— Это я Василия надумила свой пруд выкопать. Болотце на этом месте стояло. Потому что низинка. Аккурат перед этой низинкой, где мы стоим, наша изгородь кончалась. Я и говорю: «Плохо ли будет для Садового городка, Василий, если ты в противопожарном отношении прудок выроешь?» А его как осенило. Он живехонько в райисполком. А там с превеликим удовольствием разрешили ему вырыть этот прудок. На случай если пожар в городке, то не одна тысяча ведер обеспечена. А он за это попросил пригородить болотце или, стало быть, будущий пруд к своему участку. Потому что должен же он как-то покрыть свои траты на пруд. Вот и завел рыбку. А если пожар, руби изгородь и хоть всю воду высоси. С умом ведь дело сделано?

— Да еще с каким, Серафима Григорьевна! Вам бы совхозом руководить...

— Куда там! А вообще-то — я бы могла...

Разговаривая так, Аркадий Михайлович и Серафима Григорьевна и не заметили, как раскрылись ворота и как появился маленький серенький «Москвич», а в нем — Василий Киреев.

XI

Снова пришел тихий розовый вечер. В стороне, у маленького прудика, в честь дорогого гостя Аркадия Михайловича был вынесен и накрыт большой стол.

Хозяйничала Серафима Григорьевна. Сегодня, как ею было замечено, она зарезала двух кур. Как ни считай, а за столом, кроме нее, будет семеро: четверо Киреевых, Баранов и двое стариков Копейкиных. Пришлось пригласить и их. Потому что Прохор Кузьмич с первого часа приглянулся Аркадию Михайловичу. А вчера Копейкин на свои, на пенсионные, выставил две чекушечки в знак сочувствия к Василию Петровичу в смысле домового грибка.

Говоря по правде, Серафиме Григорьевне было жаль в самое ноское время жарить двух несушек, но курицы были очень стары и когда-никогда их нужно было отправить на сковородку.

Киреев и Баранов ловили рыбу. Вернее, ловил Баранов, а Василий насаживал на крючок хлебные шарики.

— Ты, Аркадий, не торопись, — предупреждал он друга, — дай ему, понимаешь, заглотнуть, а потом тяни. Да эластично тяни, чтобы не вырвать губу.

Аркадий Михайлович так и делал. Рыба, кишмя кишевшая в водоеме, видимо, недоедала, поэтому клевала отчаянно. Но не всякая из них была годна на сковороду. Мелочь осторожно снимали с крючка и бросали в пруд.

— Рано ей еще на столе быть. Пусть подрастет.

Брошенный в пруд карпешка давал стрекача, вызывая радость и смех товарищей.

А за изгородью, никем не замечаемые, наблюдали за ловлей карпов горящие мальчишечьи глаза страстных рыболовов. Их сердчишки бились, выстукивая: «Вот бы нам выудить такую!»

Ангелина и младшая дочь Киреева Лидочка тут же потрошили пойманных карпов и укладывали на сковороду вместе с тонкими ломтиками картофеля.

— Красота! — воскликнул Василий.

— Красота! — повторил Аркадий.

— Свежее не может быть рыбы. Стерлядь пробовал пускать в пруд, да не живет в непроточной воде. А ерши есть. На хлеб они, изверги, понимаешь, никак. Их надо на червей. В другой раз я тебе налажу ершиную снасть. Знатную съедим уху.

Они то и дело обменивались улыбками, то один, то другой начинал:

— Ты помнишь, Вась, когда мы наводили мост...

Или:

— А ты еще не забыл, Аркадий, как под Смоленском ночью...

И несколько сказанных слов воскрешали пройденное, прожитое. Вспоминаемые дороги смертей и страданий, огня и крови, атак и окружений заставили того и другого задуматься над тем, как скоро человек забывает прошлое.

— Как мы только выжили тогда, Аркадий?.. Мне и до сих пор снятся сны, в которых я погибаю, — признался Василий. — То, понимаешь, подрываюсь на mine, то, понимаешь, тону...

— И я тоже, — пожимая ему руку, тихо сказал Баранов. — От этих снов, видимо, не уходит ни один фронтовик.

Они не могли наговориться. Им нужно было так много сказать важного, а в результате все свелось к грибку. К домовый губке. Никуда от нее не мог уйти Василий Петрович. Даже в этот вечер такой радостной, такой долгожданной встречи с Аркадием Барановым. Губка надрывно ныла в душе Василия, ни на минуту не давая забыть о себе.

И когда были съедены карпы, когда зубы гостей и хозяев ценой немалых усилий обглодали кости кур, Василий Петрович поведал о несчастье, постигшем его дом.

— Эта губка, понимаешь, — сказал он, — съедает дерево, как туберкулез легкие. Мы вот тут, понимаешь, сидим, говорим, а она его ест и ест...

Выслушав друга, Аркадий Михайлович довольно спокойно сказал:

— Оттого, что мы будем переживать и хмуриться, твоя губка не приостановит свою разрушительную работу. Я уже кое-что слышал о ней от Прохора Кузьмича. И нахожу, что ничего страшного нет. Из такой ли беды мы выходили с тобой, Василий!

— Это так, Аркадий, — не очень охотно согласился Василий, — но где взять денег? Это ведь, понимаешь, капитальный ремонт. Капитальный! Весь пол, все балки, новый накат... А заработки мои пали.

— Как же это так? Почему?

— Даже не знаю. Или я устаю по хозяйству. Или, понимаешь, фарту не стало... Только нет уже теперь у меня, почти нет, тех плавок, что были раньше. Случаются, конечно, удачи. Сегодня, например... А вообще-то редко. А если удач нет, нет и этих самых, без которых ни доски, ни бревна на лесном складе не дадут.

— Это плохо, но голову вешать не надо. Твоя теща Серафима Григорьевна — женщина, как мне показалось, хозяйственная, хорошо знающая и меру и цену вещам, — осторожно заметил Баранов, — у нее, я думаю, найдется кое-что для такого случая.

Василий Петрович настороженно оглянулся, проверяя, не слышит ли кто-нибудь их разговор. И, убедившись, что поблизости никого нет, все же предложил пройти в дальний угол участка, заросший густым малинником. Там он спросил Аркадия:

— Ты думаешь, у нее могут найтись деньги?

Аркадий Михайлович, не пряча улыбки, сказал:

— Не я один так думаю. — А потом как бы между прочим заметил: Умнейший человек Прохор Кузьмич Копейкин. Если я обоснуюсь здесь на самом деле, он у меня будет первым советчиком и консультантом.

— Да, он весьма и даже очень башковит. Но как-то, понимаешь, легковат в словах и делах. Будто не живет, а порхает. А порхание ему уже не по годам. Он тебе, что ли, сказал про тещины деньги?

Баранов на это ответил так:

— Намекнул.

Василий Петрович вздохнул, потом сорвал малиновый лист, помял его в руках. Понюхал и спросил:

— А откуда у нее могут быть деньги?

— Вась! — сказал Баранов, кладя на плечо товарища руку. — Хорошо быть простым человеком. Простым, но не простаком. Иногда нужно кое-что не замечать «по целесообразности жизни», но жить с закрытыми глазами едва ли следует. Я ничего не утверждаю пока, Василий, но думаю, что все эти козы, свиньи, плантации заведены Серафимой Григорьевной не для научно-познавательных целей и не ради любви к живой природе. Или я ошибаюсь?

Василий подумал о чем-то, что-то взвесил в уме, потом сказал:

— Конечно, я ее не учитывал. Но ведь, Аркадий, понимаешь, рента, подходящий, страховка... Я ничего этого не знаю. Все она. Это с одной стороны.

— А с другой?

— А с другой, понимаешь, к ней ходит эта Панфиловна. С виду божья коровка, а вникни — ядовитая паучиха-крестовичиха. Видеть ее не могу. На порог бы не пускал... Но ведь не запретишь же, понимаешь, теще...

— Конечно, конечно, — ответил нейтрально Баранов.

Василию не хотелось верить, Василий боялся верить и тем более признаться, что мать Ангелины способна вести двойную игру. Но чего ради доброжелательному человеку Баранову ни с того ни с сего порочить его тещу? Может быть, на его свежий глаз виднее это все, чем ему, привыкшему доверять во всем Серафиме Григорьевне? Никак нельзя было заподозрить в клевете или склочничестве и Прохора Кузьмича.

— Как ты можешь, Аркадий, и дня не прожив, сориентироваться во всем? Наверно, это у тебя с войны. Помню, бывало, зайдем населенный пункт, у которого мы и названия не слыхивали, а ты сразу разбираешься, где, что и что к чему. Да и людей взять. Случалось, человек и рта не раскроет, а ты по глазам читаешь его биографию. Это, верно, дар в тебе такой?



Сказав так, Василий снова задумался. Зерна сомнений заставили его кое-что вспомнить. И это «кое-что» не обеляло его тещу.

— Может быть, ты и прав, Аркадий, — продолжал Василий. — Но у нас, понимаешь, с нею очень хорошие отношения. И я не могу их портить. Ради Лины. Ради себя. Как я посмею начать разговор с ней на эту, понимаешь, довольно щекотливую тему? У нее, наверно, есть сбережения. И если ей намекнуть... Хотя бы займы... или как-то еще, но под благовидным, понимаешь, предлогом и без обид найти вежливые ключи...

Сказав так, Василий снова задумался. Зерна сомнений заставили его кое-что вспомнить. И это «кое-что» не обеляло его тещу.

— Может быть, ты и прав, Аркадий, — продолжал Василий. — Но у нас, понимаешь, с нею очень хорошие отношения. И я не могу их портить. Ради Лины. Ради себя. Как я посмею начать разговор с ней на эту, понимаешь, довольно щекотливую тему? У нее, наверно, есть сбережения. И если ей намекнуть... Хотя бы займы... или как-то еще, но под благовидным, понимаешь, предлогом и без обид найти вежливые ключи...

Василий Петрович сорвал еще один малиновый лист и растер его в руках, потом чуть ли не шепотом стал признаваться:

— Я очень, понимаешь, люблю дом. И дом будто в самом деле не дом, а я сам. И будто гибнет не он, а я... Мне очень нужно, Аркадий, для моего самочувствия вылечить дом от губки.

Лицо Василия Петровича теперь нескрываяемо выражало страдание, даже вздрогнули губы.

Заметя это, Баранов пообещал:

— Поищем «вежливые ключи». И если, на худой конец, постигнет неудача, заем найдется. На этом и порешим.

На этом и порешили.

XII

Аркадию Михайловичу была отведена светелка на втором этаже. Туда он и отправился. Василий Петрович решил проведать кур. Теперь он это будет делать ежедневно. Хотя подкоп хоря и был засыпан щебенкой, перемешанной с битым стеклом, все же надо

поглядывать. А вдруг хитрый гость из соседнего леса ведет новый ход?

Но все обстояло благополучно. Вернувшись в дом, Василий застал Лину спящей. Тут нужно было бы приписать еще несколько строк и полюбоваться вместе с Василием Петровичем живописно покоящимися на подушке пепельными косами молодой женщины, подивиться ямочке на ее плече и увидеть, как она улыбается кому-то во сне. Эти улыбки во сне хотя и наводили Василия Петровича на некоторые размышления, но разве человек волен в своих встречах во сне? От таких встреч никуда не уйдешь. Лишь бы их не было наяву.

И Василию Петровичу снились всякие сны. Разные свидания случались во сне у него. Но это было до женитьбы. А после нее он видел другое. Дом. Цветущий сад. Огромных налимов и осетров. А сегодня, если он уснет, ему будет сниться губка или хорь, крадущийся, скалящий на него острые зубки и щурящий свои подлые, злые глазки.

Василий спал тревожно. И снился ему действительно хорь. Он был в сапогах, в шляпе и с ружьем. Как тот знаменитый сказочный кот на обложке книги, которую давным-давно Василий Петрович купил своей дочери Лидочке. Василий Петрович, вооружившись двустволкой, крался по кустам и стрелял в хоря. Но дробь почему-то отскакивала от зверя, и хорь смеялся над ним.

Снилась и губка. Она была живой. Дышала и шипела: «Съем, съем, съем...»

А потом снилась Серафима Григорьевна. Поминутно оглядываясь, она шла по окраинным улицам города. За нею по-пластунски полз, как это было на фронте, Аркадий Баранов. И когда теща свернула в переулок, где стоял небольшой дом с вывеской «Сберегательная касса», Баранов схватил Серафиму Григорьевну за подол юбки, крикнул: «Так вот где твои денежки!»

Это уже было под утро. Киреев проснулся и, словно желая уйти от сна, выбежал в трусах и майке из дому. Подбежав к пруду, он стал плескать на свое лицо воду одну пригоршню за другой, будто желая вымыть из своих глаз нехороший сон.

Утро в киреевском доме началось, как всегда, стремительно. Нужно было накормить «самого» и его сына Ивана, отправлявшихся на

завод. К столу были поданы не доеденные вчера карпы и по крылышку вчерашних кур. Без того жесткое мясо за ночь усохло так, что зубы не могли сорвать его с костей. Оставив крылышко, Василий Петрович обратился к Серафиме Григорьевне:

— Мамаша, я с вами никогда повелительным голосом не разговаривал и главой этого дома себя не считал. Поэтому почтительно прошу вас, мамаша, учесть, что я, понимаете, обязан этому человеку моей жизнью. И если для него нужно будет распилить пополам это красивое сооружение с кружевными наличниками, покрашенными стопроцентными свинцовыми белилами, то я распилю его. Поэтому, мамаша, когда вам вздумается еще раз готовить куриное блюдо, то, понимаете, поинтересуйтесь годом рождения курицы, прежде чем ей отрубить голову...

Никогда еще таким не видела Серафима Григорьевна своего зятя. Она даже и не представляла, что в этом покладистом добряке могут найтись такие тихие и такие каменные слова. Да и сам Василий Петрович удивился первой размолвке с тещей. Неужели сон был виной этому или догадка о сбережениях Серафимы Григорьевны? Вернее всего, что причиной этому были только старые куры. Но...

Но если она могла подать к столу в день долгожданной встречи оскорбительно жесткую курятину, если она могла наводить экономию такого рода, значит, она могла скрытно от него и, может быть, от дочери проворачивать и другие дела.

Не зря же в первый день приезда в умную голову Аркадия заползли такие мысли. Не зря же, наконец, снятся такие сны! Ведь человек не может увидеть во сне того, что ему не известно или о чем он не думает днем.

Вышел из-за стола Василий Петрович голодным. Он даже не стал пить парное козье молоко, которое любил. Его сегодня сердило и то, что Ангелина не вышла к столу, хотя она и до этого просыпалась позднее других.

Сын Иван, как обычно, молчал. Наскоро позавтракав, он побежал заводить и разогревать «Москвич», Василий Петрович тем временем надел спецовку. Он не переодевался на заводе, чтобы не терять времени.

Уезжая, Киреев сказал теще:

— Так, я думаю, вам понятна линия в смысле гостеприимства Аркадия Михайловича?

Это было сказано на крыльце, сказано подчеркнуто официально. Баранов уже проснулся и через открытое окно слышал их разговор. Он также слышал, как после отъезда Серафима Григорьевна поднялась наверх и, пройдя в соседнюю светелку, шепотом стала будить дочь Василия:

— Солнце-то уж вон где, Лидия...

— Я сейчас, — ответила девушка.

Через тесовую перегородку послышалось, как торопливо одевается и обувается Лида, как спешит она по лестнице. Потом он увидел в окно, как Серафима Григорьевна у крыльца сунула Лиде бутылку с молоком и сверток, сказав:

— На вольном-то воздухе слаще поешь. И умоешься там же, на ключике. Здоровее будешь.

Затем были выгнаны три козы и два козленка.

Козам не терпелось. Им хотелось есть. Они тянули Лиду, еле удерживавшую концы привязи. Козлята резво бежали за самой большой, коричневатой, хорошо вычесанной козой.

Когда едва успевающая за козами Лида скрылась за воротами, появилась старуха с двумя пустыми корзинами.

— Григорьевна! — крикнула она. — Уехал сам-то?

— Тсс! — предупредила ее Ожеганова. — Гостя разбудишь, — сказала она, оглянувшись на занавешенное окно, не думая, что Баранов наблюдает за ними.

— Григорьевна! — крикнула она. — Уехал сам-то?

— Тсс! — предупредила ее Ожеганова. — Гостя разбудишь, — сказала она, оглянувшись на занавешенное окно, не думая, что Баранов наблюдает за ними.

Потом женщины, шепчась, прошли за огород. Баранов не видел того, что они там делали. Зато позднее об этом рассказал Прохор Кузьмич.

Час за часом открывалась не очень приглядная картина жизни этого дома. Это была чужая и даже враждебная Баранову жизнь. Он и не предполагал встретить Василия в таком окружении, которое, кажется, засасывает его простого и доверчивого друга. Он, может быть, и не замечает этого. Случается, что люди привыкают к дурному запаху и с годами не чувствуют его. Иль, выпивая рюмку водки, не придают этому значения, а потом, втянувшись, не могут жить без нее и становятся алкоголиками.

Мало ли знает Аркадий Михайлович примеров, когда опускающийся или ошибающийся человек искренне и убежденно не замечает этого. Не хитрит же с Аркадием его друг Василий. Не хитрит, но, может быть, обманывает себя? Ищет оправдания, занимается самовнушением? Такое ведь тоже бывает! Даже явно виновные люди всегда хотят оправдаться перед своей совестью и найти смягчающие вину обстоятельства.

Но это пока размышления. Первые впечатления могут быть обманчивы, и пока еще рано делать какие-то заключения. Поэтому Аркадий Михайлович решил копнуть поглубже и познакомиться покороче со всеми, кто населяет дом Василия. Этого требовала не простая любознательность. Во-первых, для Баранова была не безразлична судьба Василия, а во-вторых, Аркадию Михайловичу хотелось воспользоваться случаем и получше узнать людей, подобных Серафиме Григорьевне, узнать, как и чем живут такие люди.

### XIII

Аркадий Михайлович принадлежал к людям, которые едят крайне мало. Но на этот раз он уплетал за обе щеки. Ему страшно хотелось как можно лучше понять те стороны души Серафимы Григорьевны, которые, как ему казалось, она искусно прятала от постороннего глаза.

Он уже был сыт сверх меры. Но, покончив с одним стаканом сметаны, принялся за второй. Положив три ложки сахарного песка, он добавил четвертую и потом пятую. Очистил два яйца, сваренных вкрутую, придвинул к себе тарелку с парниковыми огурцами.

Ожеганова силилась улыбнуться и не могла. Как ни старалась она сказать что-либо ласковое и гостеприимное — не получалось. От пронизательных глаз Аркадия Михайловича не ускользнуло ни одно

выражение ее лица, он чувствовал, как Серафима Григорьевна смотрит ему в рот и мучительно переживает каждый его глоток, каждую съеденную им ложку сметаны. Баранов, уже не в силах больше есть во имя исследования скаредной души Ожегановой, поблагодарил. Она повеселела, сверкнула, мигнула левым глазом, как вчера, когда Баранов похвалил ее хозяйство.

Поблагодарив хозяйку еще раз и выразив изумление ее необыкновенной способности вести хозяйство, он вдруг сказал:

— Был у меня один знакомый. Из хозяйственных мужиков. Дока. Так этот деловой человек считал, что правильнее всего превращать деньги в недвижимое или в такие вещи, которые никогда не упадут в цене.

Баранову хотелось знать, заинтересует эта тема Ожеганову или нет, продолжит она разговор или не обратит на него внимания. Серафима Григорьевна оживилась:

— А почему правильно?

— Деньги, как и цены, вещь переменная. А куст смородины — всегда куст. Или взять козу. Это вам не сберегательная касса, где больше трех процентов не платят.

— Да кто его знает... — сказала, раздумывая, Серафима Григорьевна. Коза может сдохнуть, смородина — засохнуть, вот тебе и... — Тут она остановилась, желая скрыть свою заинтересованность, и, вздохнув, пожалела: — Нам-то что до процентов, когда их не с чего получать!

Из ее ответа Аркадий Михайлович понял, что, во-первых, у Ожегановой есть деньги, а во-вторых, вот эти деньги она в сберегательной кассе не хранит. Проверая свой домысел, он как бы между прочим заметил:

— Но если они случаются, их, наверно, лучше всего хранить на сберкнижке. Никаких хлопот, и обеспечена тайна вклада...

— Обеспечена? — Серафима Григорьевна лукаво хихикнула. — Девчонки же там сидят! Девчонки! Одна другой по секрету, другая — третьей... Вот вам и тайна!

Поддержав таким образом разговор, она снова спохватилась. Как ни хитра и ни осторожна Серафима Григорьевна, она не была умна и, скажем прямо, в чем-то даже глуповата.

— Впрочем, зачем об этом думать? — снова заговорил Баранов. — Нам тайну вклада хранить незачем. Все на виду. Да и нужно ли таиться, особенно теперь, когда ожидается обмен денег? — Интересно, как отзовется на это Ожеганова.

— Вот именно, — подхватила Серафима Григорьевна. — Тут уж таи не таи, менять придется... Только не возьму в толк, сколько ни думаю: зачем понадобился такой обмен?.. Разве эти деньги плохи!

— Государству виднее, Серафима Григорьевна, — зевая, уклончиво ответил Баранов, ожидая нового вопроса.

И этот вопрос последовал.

Именно его он и ждал:

— А как их менять будут, Аркадий Михайлович?

— Как написано. Рубль за десятку. Десятку за сотню. И соответственно все в десять раз дешевле. Разницы никакой. Ни прибыли, ни убытка.

Но не этого ответа ждала Ожеганова. И Баранов отлично понимал, что ее интересует порядок обмена. Серафима Григорьевна долго искала слова, а потом спросила:

— А какой он будет, обмен? В кассах или приходиться куда будут люди?

— Наверное, в кассах. У кого на книжке тысяча — переписут на сто рублей. И все.

— А у кого не на книжке, а в кубышке, тому как? — с шутливой игривостью спросила Ожеганова.

Аркадий Михайлович сделал вид, что не расслышал, но Серафима Григорьевна повторила вопрос в новом, затемненном виде:

— Старуха ко мне ходит. Помогает кое в чем. На смерть копит. Дома деньги держит. Не посоветовать ли ей их на книжку переложить?

— Право, не знаю, Серафима Григорьевна, — ответил Баранов и в упор посмотрел своими смеющимися глазами в бегающие глазки Серафимы Григорьевны.

Он посмотрел так, будто заглянул в ее нутро и увидел там спрятанное ото всех. Ожеганова не выдержала его взгляда.

Баранов теперь знал твердо, что у нее есть тайные и немалые сбережения. Он с укоризной глядел в ее глаза и сдерживал себя, чтобы не бухнуть:

«Как вам не стыдно! Муж вашей дочери теряет голову, не знает, где найти средства, чтобы привести в порядок дом. А вы утаиваете деньги, копите их, оставаясь равнодушной к горю человека, которому вы обязаны всем, в том числе и возможностью красть...»

Но так сказать он не мог. Это было бы слишком. Это могло бы внести разлад в семью. Да и, кроме того, убежденность — еще не доказательство. И Баранов посоветовал:

— Было бы неплохо, если бы ваша знакомая старуха, которая копит деньги на смерть, дала бы их займы Василию. За ним не пропадет. Я, например, собираюсь ему предложить из своих отпускных...

Опять сверкнул-мигнул левый глаз Серафимы Григорьевны, и она сказала:

— Какой вы разумник, Аркадий Михайлович! Я, пожалуй, потолкую с Панфиловной. На половину пола у нее, я думаю, наберется, да вы дадите, вот и новый пол...

#### XIV

После этой беседы с Ожегановой Аркадий Михайлович уже не предположительно, а определенно мог судить о теще Василия. Ему было жаль Василия и его детей. Особенно Лидочку.

Баранову вдруг захотелось узнать, где Лида пасет коз, поговорить с нею, выяснить, как живется ей в новой семье отца.

Ничего не спрашивая у Серафимы Григорьевны, чтобы не навлечь излишнего недоброжелательства, он только сказал ей:

— Хочу побродить по окрестностям, — и ушел.



Садовый городок оказался невелик, и не так трудно было найти Лиду. Он встретил ее на опушке березняка. Лида вязала березовые веники.

— Какая удачная встреча! — начал Баранов. — Вот теперь давай знакомиться как следует, Лидочка.

— А мы и так хорошо знакомы, Аркадий Михайлович.

— Ну, все-таки. Я очень мало знаю тебя и о тебе, Лида.

— А я много знаю о вас, Аркадий Михайлович. И о Ксении Ивановне, и о Лиде, и о Володе. Ваш Володя, наверно, будет очень хорошим строителем.

— А почему ты так думаешь?

— Потому что у него между бровей, как и у вас, очень серьезная складка.

Баранов расхохотался.

— Сколько тебе лет, Лидочка?

— Больше, чем есть. А сейчас меньше...

— Что за загадки. Почему меньше?

— А мне так хочется, — ответила Лидочка не без иронии. — И мне веселее, и вам проще разговаривать со мной.

Баранов почувствовал себя смущенным. Лида в свои шестнадцать лет действительно была куда взрослее. Меняя тему разговора, Баранов спросил:

— Куда столько веников? Их за год не измести.

— Но в конце зимы они стоят недешево. — В звенящем голосочке Лиды опять послышались нотки насмешливости.

— Серафима Григорьевна и вениками торгует?

— Нет. Она только оказывает услуги. Она очень любит оказывать услуги.

— А у тебя с нею хорошие отношения, Лида?

Лида улыбнулась. Потом прищурилась:

— Какой вы хитренький да любопытненький, Аркадий Михайлович... А я такая глупенькая и такая болтливая, что мне, наверно, ничего не удастся от вас скрыть. Да, конечно, я безумно «люблю» Серафиму Григорьевну, но еще больше — Панфиловну.

— А она-то тут при чем?

— При Серафиме Григорьевне. Вы знаете, Панфиловна ужасно заботливая старушка. Она даже заботится обо мне. О моей душе даже.

Баранов не сразу понял, о чем идет речь, и Лидочка разъяснила:

— Эта Панфиловна обещала мне счастье на небесах, в загробном мире, и даже подтвердила свои обещания на земле.

— Чем именно? — насторожился Баранов.

— Она показала мне маленькие часики «Заря» и обещала подарить, если я вступлю к ним в секту.

Аркадий Михайлович не верил своим ушам:

— В какую секту, Лида?

— В какую-то ужасно божественную. Я не спросила, как она называется.

— И что же ты? — Баранов с тревогой взглянул на маленькие часики на руке Лиды.

— Поблагодарила за внимание и сказала, что на таких условиях мы, пожалуй, вступим в секту организованно — всем классом, только сначала я поговорю с классным руководителем. И Панфиловна сразу перестала заботиться о моей, как она говорила, юной и грешной душе.

Заметив, что Баранов смотрит на ее часики, Лида добавила:

— А потом обо всем узнали мой брат и Миша Копейкин. Как они испугались! Просто ужасно испугались!

— Чего же они так испугались?

— Моего соблазна. И... купили часики. Вот они. В складчину. Ужасно точные. Теперь-то я наверняка не вступлю в секту.

Глаза Лидочки сияли, смеясь. Аркадий Михайлович и не предполагал, что в этой простенькой на вид девчонке столько юмора.

— А Серафиму-то Григорьевну Панфиловна не вовлекала в свою секту? — на всякий случай спросил Баранов.

— Что вы, Аркадий Михайлович! Как вы могли подумать такое? Серафима Григорьевна такая передовая женщина, у нее на все такие твердые взгляды и такие серьезные суждения. Она сама по себе секта.

— Да ну? И какая же? — улыбнулся Баранов меткому сравнению.

— Об этом вам лучше поговорить с моим братом или с Мишей Копейкиным. Они уже имеют право голоса, а я только паспорт получила. Я пока еще безголосый человек, и мне можно думать, но не очень разговаривать о взрослых делах. Не так ли?

Теперь смеялись не только ее глаза, но и вся она, кажется, даже пальцы и даже часы «Заря» на ее руке. Знает ли обо всем этом Василий? Знает ли он характер своей дочери? Знает ли он мысли Лидочки? Или она для него все еще ребенок?

Эх, Василий, Василий, всем, даже детям, многое понятно в обстановке, в которой ты живешь, и только тебе кажется, что ничего не происходит в твоём доме!

— Лидочка, я понимаю, — продолжал Баранов разговор, — тебе трудно быть откровенной со мной и говорить об отце, об Ангелине Николаевне. Это хорошо, что ты рассказала мне о Панфиловне. Но я хочу знать о тебе, о твоей жизни, и не ради праздного любопытства. Может быть, надо тебе в чем-то помочь? Скажи мне прямо.

На это Лида ответила, не иронизируя, не прячась:

— Мне ничуть не трудно быть откровенной с вами. Даже необходимо. И мы уже советовались с Ваней и Мишей Копейкиным и решили обязательно воспользоваться вашим приездом, чтобы...

— Чтобы что?

— Только вы это можете сделать для нас... для меня... нет, не для нас, а для папы...

Баранов обрадовался такому повороту в разговоре:

— Я готов, Лида. Скажи, что я могу для тебя сделать?

— Нет, нет, нет... — поспешно возразила Лидочка. — Для меня самой ничего не надо. Вы не думайте, что мне плохо живется. Это только со стороны я выгляжу какой-то Золушкой... И никакая я не Золушка! Я могу и уйти и оставить всех этих коз, свиней и кур. Ваня наш очень хорошо зарабатывает, он ведь уже третий подручный сталевара. А у моей бабушки пенсия большая. Мы совсем ни в чем не нуждаемся... Да, да, не нуждаемся. Как и Копейкины тоже...

— Так почему же, — недоумевал Баранов, — ты веники вяжешь, встаешь чуть свет, в доме работаешь без отдыха?!

— Для отца. Я люблю отца, Аркадий Михайлович. Я его люблю, может быть, больше, чем мою бабушку. И Ваня любит. Он так им гордится! Отец очень хороший. Он превосходный человек. Вы слышите: превосходный! И я никому не позволю... Вы слышите: никому не позволю даже сомневаться в этом... Ему только надо бы... надо бы немножко помочь...

Баранов посмотрел на возбужденную Лидочку, подождал, пока она немного успокоится, и попросил:

— Говори, Лидочка. Я слушаю.

— А что еще говорить? И так все понятно. Не можем мы оставить отца одного, без нас. Пусть мы пока молчим, но молчание тоже влияет.

— На кого? — спросил Баранов.

— Аркадий Михайлович, да разве вы сами не видите, что тут происходит? Если мне не верите, спросите у Прохора Кузьмича.

— А он, кажется, тоже в кабале у Серафимы Григорьевны? — осторожно сказал Аркадий Михайлович.

— Да что вы, Аркадий Михайлович? В какой кабале? В кабале только папа... У Прохора Кузьмича свой домишко на Старогуляевской улице. Правда, жить там тесновато. Его старший внук женился. Но жить можно. Он может от нас уйти хоть сейчас. Но Прохор Кузьмич любит сад. Любит землю. Любит природу, лес, птиц. И папу любит. Поэтому и согласился жить в садовом домике. А Серафима Григорьевна повернула все по-своему.

Воспользовалась этим и стала выжимать для себя пользу... Серафима Григорьевна из всего делает пользу. Даже из моей любви к папе.

— А почему ты не поговоришь с отцом?

Лида вместо ответа посмотрела на часы и весело сказала:

— Ого, уже сколько! Пора гнать мое стадо, и ужасно хочется есть. Мне никогда не хватает завтрака. Я же расту. А бутылка козьего молока — какая же это еда при физической работе? Правда?

Она явно не хотела продолжать разговор.

Вместе они принялись отвязывать коз, и, когда Лида нагнулась, Баранов невольно залюбовался ее длинными светлыми косами.

Аркадию стало ясно, что нужно вмешаться в жизнь Василия.

— Ты веди коз, — сказал он Лиде, — а я понесу веники. Должна же Серафима Григорьевна извлечь пользу и из моей любви к тебе и к твоему отцу!

С этого дня между Лидочкой и Аркадией Михайловичем установилась дружба. Они хотя и не договаривали всего, но стали тайными союзниками.

Откуда же все-таки появляются люди, подобные Серафиме Ожегановой? Что питает их душу? Что порождает стяжательство, ненасытность, страсть наживы?

Эти вопросы, волновавшие Баранова, прояснил Прохор Кузьмич Копейкин. Баранов частенько беседовал с этим любопытным человеком. Зашел разговор и о жизни Серафимы Григорьевны. То, что рассказал Прохор Кузьмич, — это рассказ не об одной лишь Ожегановой. Поэтому стоит послушать и нам Прохора Кузьмича.

Послушаем.

XV

— Я, Аркадий Михайлович, не все про жизнь Васиной тещи досконально знаю, но про кое-что слышал от ее земляков. Наш край не только по рудам да по прочим дарам земли удивительный и пестрый, но и по людям. И среди наших людей, особенно в старые годы, нигде, пожалуй, такой пестроты не было, как у нас. Даже рабочий люд взять...

Скажем, работает человек на домне или на руднике. Это одно. А скажем, бегают по лесам, шныряют по речкам — золотой песок ищет или камнями редкими хочет разбогатеть — это другое, а прозвание общее — рабочий люд.

Серафимин отец из вторых был. Не манила его коренная трудовая, рабочая жизнь. Токаря, скажем. Слесаря. Горнового. Или, к примеру возьмем, кузнеца. Серафимин отец Григорий Самсонович по-своему жизнь видел. Не хотелось ему простым куском хлеба с солью питаться. Хоть и верен был этот трудовой кусок и никогда не давал с пустым брюхом ходить, а все же простой хлеб. А зачем в золотом краю простой хлеб есть, когда земля столько всяких-разных богатств прячет! Не лучше ли свой фарт поискать, золотую жилу найти, — тогда и хлеб не в хлеб, и мясо не в мясо, и молодая курятина не еда.

Вот и бросил этот Григорий, Серафимин отец, работу на руднике. Обзавелся искательским инструментишком да подался в леса — золотого полоза за хвост ймать. Год ймает, два ймает, а он не ймается, только мелкой удачей дразнит искателя. То самородочек обронит ему полоз не больше кошачьей слезы, то золотой пылью пожалует или самоцветное зернышко подкинет. Хоть и не купишь на это бархатный кафтан, а все же из кулька в рогожку перебиваться можно. А главное дело — малые, грошовые находки большую удачу сулят. Ею-то и жил Григорий Самсонович. Ее-то и видел во сне и наяву. А тут, скажу я тебе, Аркадий Михайлович, еще были-небыли ему покоя не давали. Дальше в лес манили. Глубже в землю врываться велели. Вот и доврывался Григорий Самсонович, лег в нее на вечный покой. И остались после него жена да двое дочерей.

Старшая дочь, Анна Григорьевна, не в отца пошла. На руднике стала работать и за хорошего парня вскорости замуж вышла. Хорошо и по сей день живут. С неба звезд не хватают, а своему очагу гаснуть не дают. Своими руками кормятся. А руки, известно, не разменный капитал. Всегда кормят.

А младшенькая дочь Григория, Серафимочка-херувимочка, от тятеньки золотую болезнь унаследовала. Тоже золотой жиле стала молиться, о сытей, бездельной жизни думать. И, как рассказывают про Серафиму, маслом ее не корми, только сказы, легенды разные про золото, про земные клады говори. А этой словесности у нас на Урале хоть отбавляй. И не одна небыль, а чистая правда тоже

сказывалась. Мало ли совсем пропащих людей в богатеи выходили. Про это, сам знаешь, Аркадий Михайлович, не в одной, не в двух книжках написано.

И захотелось Серафиме отцовский ненайденный фарт найти, из его золотой думки удачу свить. Ну а под силу ли ей это самой! Мыслимо ли девахе по лесам, по горам с каёлкой шататься. Не один медведь страшен. Вот и задумала она за такого парня замуж выйти, который пошел бы по тятенькиному следу. И нашла. Гранильщика. Николаем звали. Из первых чудодеев был. На вывоз камни гранил. В молодые годы сверкать мастер начал. Далеко бы пошел, да...

Да жена-красавица на свою тропу его заманила. Серафима Григорьевна в молодые годы, рассказывают, кого хочешь своей красотой могла ума-разума лишить.

Много ли, мало ли годов прошло, а ее Никола из леса не выходит. На речках днюет, под зеленым кустом ночует, а форта нет. Не зря говорится, что ни золото, ни самоцвет не любят, когда их ищут. Они как-то больше любят сами находиться. Не зря про это и байки сложены.

Не нашел Николай жилы, а мастерство свое гранильное потерял. Из трудовых людей в «прочих» стал числиться, а потом и из этой графы совсем в плохой параграф угодил. В недозволенном месте решил у жар-птицы золотое перо выдернуть. В уголовные попал.

Осталась Серафима с Ангелиной на руках. Переменила местожительство, а когда овдовела, нового добытчика завела. Он лавкой золотопродснаба заведовал, куда старатели золото за разный товар сдавали.

Хорошо ее второй муж лавкой заведовал, да не долго. Помогла ему Серафима Григорьевна освободиться от занимаемой должности. И он в силу той же причины, что и ее первый муж, потерял гражданские права.

Баранов посмотрел на возбужденную Лидочку, подождал, пока она немного успокоится, и попросил:

— Говори, Лидочка. Я слушаю.

— А что еще говорить? И так все понятно. Не можем мы оставить отца одного, без нас. Пусть мы пока молчим, но молчание тоже влияет.

— На кого? — спросил Баранов.

— Аркадий Михайлович, да разве вы сами не видите, что тут происходит? Если мне не верите, спросите у Прохора Кузьмича.

— А он, кажется, тоже в кабале у Серафимы Григорьевны? — осторожно сказал Аркадий Михайлович.

— Да что вы, Аркадий Михайлович? В какой кабале? В кабале только папа... У Прохора Кузьмича свой домишко на Старогуляевской улице. Правда, жить там тесновато. Его старший внук женился. Но жить можно. Он может от нас уйти хоть сейчас. Но Прохор Кузьмич любит сад. Любит землю. Любит природу, лес, птиц. И папу любит. Поэтому и согласился жить в садовом домике. А Серафима Григорьевна повернула все по-своему. Воспользовалась этим и стала выжимать для себя пользу... Серафима Григорьевна из всего делает пользу. Даже из моей любви к папе.

— А почему ты не поговоришь с отцом?

Лида вместо ответа посмотрела на часы и весело сказала:

— Ого, уже сколько! Пора гнать мое стадо, и ужасно хочется есть. Мне никогда не хватает завтрака. Я же расту. А бутылка козьего молока — какая же это еда при физической работе? Правда?

Она явно не хотела продолжать разговор.

Вместе они принялись отвязывать коз, и, когда Лида нагнулась, Баранов невольно залюбовался ее длинными светлыми косами.

Аркадию стало ясно, что нужно вмешаться в жизнь Василия.

— Ты веди коз, — сказал он Лиде, — а я понесу веники. Должна же Серафима Григорьевна извлечь пользу и из моей любви к тебе и к твоему отцу!

С этого дня между Лидочкой и Аркадией Михайловичем установилась дружба. Они хотя и не договаривали всего, но стали тайными союзниками.



Откуда же все-таки появляются люди, подобные Серафиме Ожегановой? Что питает их душу? Что порождает стяжательство, ненасытность, страсть наживы?

Эти вопросы, волновавшие Баранова, прояснил Прохор Кузьмич Копейкин. Бараков частенько беседовал с этим любопытным человеком. Зашел разговор и о жизни Серафимы Григорьевны. То, что рассказал Прохор Кузьмич, — это рассказ не об одной лишь Ожегановой. Поэтому стоит послушать и нам Прохора Кузьмича.

Послушаем.

XV

— Я, Аркадий Михайлович, не все про жизнь Васиной тещи досконально знаю, но про кое-что слышал от ее земляков. Наш край не только по рудам да по прочим дарам земли удивительный и пестрый, но и по людям. И среди наших людей, особенно в старые годы, нигде, пожалуй, такой пестроты не было, как у нас. Даже рабочий люд взять...

Скажем, работает человек на домне или на руднике. Это одно. А скажем, бегает по лесам, шныряет по речкам — золотой песок ищет или камнями редкими хочет разбогатеть — это другое, а прозвание общее — рабочий люд.

Серафимин отец из вторых был. Не манила его коренная трудовая, рабочая жизнь. Токаря, скажем. Слесаря. Горнового. Или, к примеру возьмем, кузнеца. Серафимин отец Григорий Самсонович по-своему жизнь видел. Не хотелось ему простым куском хлеба с солью питаться. Хоть и верен был этот трудовой кусок и никогда не давал с пустым брюхом ходить, а все же простой хлеб. А зачем в золотом краю простой хлеб есть, когда земля столько всяких-разных богатств прячет! Не лучше ли свой фарт поискать, золотую жилу найти, — тогда и хлеб не в хлеб, и мясо не в мясо, и молодая курятина не еда.

Вот и бросил этот Григорий, Серафимин отец, работу на руднике. Обзавелся искательским инструментишком да подался в леса — золотого полоза за хвост ймать. Год ймает, два ймает, а он не ймается, только мелкой удачей дразнит искателя. То самородочек обронит ему полоз не больше кошачьей слезы, то золотой пылью пожалует или самоцветное зернышко подкинет. Хоть и не купишь на это бархатный кафтан, а все же из кулька в рогожку перебиваться

можно. А главное дело — малые, грошовые находки большую удачу сулят. Ею-то и жил Григорий Самсонович. Ее-то и видел во сне и наяву. А тут, скажу я тебе, Аркадий Михайлович, еще были-небыли ему покоя не давали. Дальше в лес манили. Глубже в землю врываться велели. Вот и довривался Григорий Самсонович, лег в нее на вечный покой. И остались после него жена да двое дочерей.

Старшая дочь, Анна Григорьевна, не в отца пошла. На руднике стала работать и за хорошего парня вскорости замуж вышла. Хорошо и по сей день живут. С неба звезд не хватают, а своему очагу гаснуть не дают. Своими руками кормятся. А руки, известно, не разменный капитал. Всегда кормят.

А младшенькая дочь Григория, Серафимочка-херувимочка, от тятеньки золотую болезнь унаследовала. Тоже золотой жиле стала молиться, о сытей, бездельной жизни думать. И, как рассказывают про Серафиму, маслом ее не корми, только сказы, легенды разные про золото, про земные клады говори. А этой словесности у нас на Урале хоть отбавляй. И не одна небыль, а чистая правда тоже сказывалась. Мало ли совсем пропащих людей в богатеи выходили. Про это, сам знаешь, Аркадий Михайлович, не в одной, не в двух книжках написано.

И захотелось Серафиме отцовский ненайденный фарт найти, из его золотой думки удачу свить. Ну а под силу ли ей это самой! Мыслимо ли девахе по лесам, по горам с каёлкой шататься. Не один медведь страшен. Вот и задумала она за такого парня замуж выйти, который пошел бы по тятенькиному следу. И нашла. Гранильщика. Николаем звали. Из первых чудодеев был. На вывоз камни гранил. В молодые годы сверкать мастер начал. Далеко бы пошел, да...

Да жена-красавица на свою тропу его заманила. Серафима Григорьевна в молодые годы, сказывают, кого хочешь своей красой-басой могла ума-разума лишить.

Много ли, мало ли годов прошло, а ее Никола из леса не выходит. На речках днюет, под зеленым кустом ночует, а форта нет. Не зря говорится, что ни золото, ни самоцвет не любят, когда их ищут. Они как-то больше любят сами находиться. Не зря про это и байки сложены.

Не нашел Николай жилы, а мастерство свое гранильное потерял. Из трудовых людей в «прочих» стал числиться, а потом и из этой графы совсем в плохой параграф угодил. В недозволенном месте решил у жар-птицы золотое перо выдернуть. В уголовные попал.

Осталась Серафима с Ангелиной на руках. Переменила местожительство, а когда овдовела, нового добытчика завела. Он лавкой золотопродснаба заведовал, куда старатели золото за разный товар сдавали.

Хорошо ее второй муж лавкой заведовал, да не долго. Помогла ему Серафима Григорьевна освободиться от занимаемой должности. И он в силу той же причины, что и ее первый муж, потерял гражданские права.

Серафима опять на новое место подалась. А тут и Ангелиночка подросла. Годы подоспели ее замуж выдавать. Сама-то уж Серафима Григорьевна не надеялась больше искателя золотой жилы заполучить. Да и разуверилась, видно, в жиле. Другие ходы-выходы стала искать. Через дочь. И нашла.

Чем не жила это хозяйство Василия? Жила. Хоть и не золотая, а не простая. Есть чем поживиться Серафиме Григорьевне.

Вот тебе, Аркадий Михайлович, и вся история про золотую цикорию и про то, как в одном и том же лесу разные грибы вырастают. Теперь уж ты сам смекай, что к чему и по какому поводу. А меня никак Серафима Григорьевна кличет...

## XVI

Рассказанное Прохором Кузьмичом пролило новый свет на стяжательский характер Серафимы Григорьевны. Теперь яснее, откуда что взялось. Значит, сохранила она хотя и в замаскированном под цвет времени, но в чистом виде страшный норв староуральских хищников, искавших богатой поживы в таинственных недрах.

Можно негодовать на живучесть корней проклятого прошлого, но одно лишь негодование — это ничто! Баранову надо было действовать. Теперь в этом его убеждало все. И дети Василия, и Прохор Кузьмич. Он не один, не один. И не только здесь, на участке Киреевых.

История прогнившего пола дома Василия Петровича дошла до цеха и даже вызвала общественный отклик. Но, поговорив, пошумев, этому событию все же не придали особого значения. И доведись бы до вас, вы бы, наверно, тоже не стали бить в набат по такому поводу, когда главное — это выполнение производственных заданий, программы цеха, государственного плана завода. Нет слов — для многих было печально видеть, как ведущий сталевар то выдаст отличную плавку, то норму не вытянет.

С давних пор в цехе считалось, что Василий Петрович Киреев унаследовал от стариков «колдунов», обучавших его, дар «понимать и чувствовать» металл. Говорили, что Киреев умеет варить сталь «красиво». Это слово, видимо, вбирало все определения высокого класса работы. Нередко Василий Петрович, представляя свой завод, выезжал на соседние сталеплавильные предприятия для обмена опытом. Говоря точнее, он производил показательные плавки, особенно на новых заводах, на вновь задутых печах, где еще не «устоялись кадры».

Василия без преувеличения можно было бы назвать «межзаводской фигурой». О нем даже есть книги. Пусть тоненькие. Но разве дело в количестве страниц? И Киреев был одно время образцом для сталеваров не одного своего, но и соседних заводов. А уж у себя в цехе его уважали дальше некуда. Многие товарищи искренне желали помочь его беде, вернуть ему былую славу, но не знали как.

Вот и сегодня, заметив, что Василий киснет, к нему подошли Афанасий Александрович Юдин и Михаил Устинович Веснин.

— Поразвяться бы тебе, Василий Петрович, — начал Веснин.

— Выдать бы пару хороших плавочек на подшефном Новоляминском сталеплавильном, — присоединился Юдин, — я бы первым к тебе стал.

— А я бы, — опять заговорил Веснин, — за второго подручного при тебе не погнушался постоять. Завод хороший. Печи новые. Народ там зоркий, а перелома в работе пока нет. А мог бы быть...

Поехали? Пару легковых подадут... И-эх! Как по новой шоссейке порхнем! — уговаривал Михаил Устинович Веснин. — Фронтowego дружка захватишь!

— Отпорхал я, — ответил товарищам Василий. — Да и нет во мне, понимаете, теперь того жара, какой там нужен.

Юдин положил руку на плечо Василию и спросил его:

— Вась! Неужто твоя губка так студит тебя?

— Не перебарщиваешь ли ты с ней? — вставил свой вопрос Веснин.

Василий на это сказал со всей откровенностью. Зачем скрывать от друзей?

— Понимаешь, Афоня, чирей на задку тоже бывает невелик, а ни встать, ни сесть. Даже заноза под ногтем и та человека выводит из строя. Как я у других перелом произведу, когда я сам себя не могу переломить? И все думаю, думаю, переживаю.

— Это уж точно, — поспешил согласиться добродушный Веснин. — Если уж ты сам не дымишь, не горишь, большого огня ждать нечего. — И тут же предложил: — Может, нам вмешаться в твое житье-бытье? Мы же не только в одном цехе с тобой работаем, но и в одной жизни живем.

— Живем-то мы, конечно, в одной жизни, да страдаем-то порознь, ответил Василий на участие товарищей. — Я ведь никогда не отказывался, когда мог. А теперь не могу. Не могу, ребята...

И Веснин и Юдин жалели Василия, не зная, как ему помочь. Да и что они могли сделать. Сказать добрые слова? Выразить сочувствие? Дать совет?

Понимая, что дом Василия и его загородное хозяйство охлаждают его трудовой пыл, ослабляют его любовь к заводу, они все же находили для него оправдания.

— Как-никак, — рассуждал Веснин, — он почти всю войну был на передовой. Каждый день готов был жизнью пожертвовать. Потом овдовел. Сколько один маялся. С головой в работу ушел. Весь день у своей печи. Горячие плавки. Вечером — натаска молодых. Все свои лучшие годы людям отдал. Жил для людей. А для себя когда? Так я говорю или нет? — обращался он к Юдину.

Юдин не отрицал, но и не соглашался:

— Но в такой жизни тоже есть личное счастье!

— Отчасти, может быть, и есть, — продолжал свои рассуждения Михаил Устинович Веснин. — Однако же есть и любовь. По себе

сужу. И к нему она пришла. Но как? Какой ценой? Дом построил! А сил каких потребовал этот дом?! И я знаю, и ты знаешь... А ведь мог бы он и не строить его, если бы тогда дирекция дала ему пощеднее квартиру. И было кому дать. Ведь он же за месяц, по его старым успехам, давал добавочной стали по стоимости никак не менее десяти квартир. Так одну из них, побольше, не в две комнаты, можно было дать Василию или нет? Дать и не толкать его на строительство своего дома. Дома, который так дорого обошелся Василию и еще дороже заводу, потерявшему тысячи тонн недоданной Василием Киреевым стали. Один ли он виноват в том, что случилось? Один ли? А мы?

— Однако ж, Михаил Устинович, — принялся возражать Юдин, — это все наружный вид дела. А ты изнутри взгляни. Не сам ли Василий предпочел свой дом квартире, которую ему давали? Не сам ли? Пусть по жениной или тещиной подсказке. Это неважно, по чьей. Важно, что эта подсказка стала его собственным интересом.

Наконец Веснин тоже склонился к тому, что дело было не в доме, а в отношении к этому дому самого Василия. Вот и сейчас беда была не в губке. Можно всем гамузом пойти к Василию. Устроить аврал. Выбросить ко всем чертям гниющий пол и заменить новым. Но в нем ли суть? А не в самом ли Василии, сотворившем себе бревенчатого, соснового двухэтажного идола и поклоняющегося ему?

А губка — это тьфу! Это чепуха на постном масле.

Может быть, и нам следует согласиться с Весниным и Юдиным? Но не будем ничего предрешать в первой четверти романа. Посмотрим, увидим и сделаем свои выводы. Тесто пока еще только замешено, и трудно гадать, каким калачом оно выпечется.

## XVII

Лидочка, подоив коз, задавала корм свиньям. Ожеганова и Аркадий Михайлович беседовали в саду. Серафима Григорьевна только что проводила Панфиловну и поспешно прятала что-то в карман юбки. Наверно, деньги.

— Кто эта божья старушка? — спросил Баранов.

— Бедняжка одна. Панфиловна. Умереть ей не даю. Помогаю. То лучку настригу, то редисочки надергаю. Продаст — глядишь, и деньги...

— Да, конечно, конечно... Самой-то вам не к лицу торговать. Все знают Василия Петровича Киреева, а с ним и вас. Разговоры пойдут...

— А какие же могут быть разговоры? Не ворованное, а своими руками выращенное продаю и Панфиловне жить даю. Подоходный налог и ренту мы платим самым исправным образом. А кроме этого, я — это я. А Василий Петрович остается Василием Петровичем. Не могу же я на его шее сидеть. Вот и добываю своими руками себе на пропитание.

Опять встретились глаза Ожегановой и Баранова. Теперь эти глаза отчетливее говорили о неприязни друг к другу.

— Гостили бы вы и гостили, — прервала короткое молчание Серафима Григорьевна. — Зачем вам во время отпуска утруждать себя тяготами нашей трудовой жизни? У всякого хоря своя нора, у всякой сороки свой нор.

Послышался голос Лиды. Она просила ключи от кладовки. Ей нужно было приготовить кормовую смесь курам.

— Лови! — крикнула Серафима Григорьевна и бросила ключи.

— Трудовая дочурка растет у Василия, — сказал Баранов. — И коз доить, и свиней кормить... все умеет.

Баранову хотелось знать, как вывернется Ожеганова. И она вдруг действительно сделала весьма неожиданный ход:

— Ну так ведь, Аркадий Михайлович, зачем-то мы выписываем газеты. Читаем по силе возможности. И радио слушаем. Понимаем, что такое связь школы с жизнью и трудовое воспитание... Не даем заплесневеть девочке. Хотим, чтобы из нее хороший человек вырос. И народу своему хороший помощник, и партии нашей на радость...

О-о-о! Не так проста Серафима Григорьевна...

Баранову не хотелось больше разговаривать с нею, и он пошел бродить по участку.

Участок был засажен с такой расчетливостью, что не оставалось ни одного пустовавшего клочка. Даже у забора рос лук-батун и ревень. На широких огородных грядках с узкими, тоже экономными, бороздами Баранов не заметил обычных огородных растений, если не считать редиски, дающей несколько урожаев в году и, видимо, имеющей хороший спрос. Не было ни бобов, ни гороха, ни свеклы и ни любимейшего Аркадием Михайловичем огородного десерта — репы. В огороде густо росли цветы. Росли, подобно луку, чесноку, моркови, подобно укропу.

Никогда еще не видел Баранов цветы на грядках. В этом было что-то оскорбительное для обитателей оранжерей, клумб и газонов. Значит, и цветы росли не для радости семьи, а для наживы.

И крыжовник, посаженный тоже довольно густо, явно рос для этих же целей. Многие из его ветвей были пришпилены сучками-рогатками к почве и, окоренившись, дали маленькие дочерние кустики. Их было тоже очень много. И они, конечно, готовились не для расширения своего сада, а для продажи.

Ожеганова, следившая за Барановым, подошла к нему и, расплывшись в улыбке, сказала:

— Вы прямо как инспектор по качеству. Видать, вы, Аркадий Михайлович, большой любитель растений?

— Да, я очень люблю растения. Очень люблю. И так сожалею, что у вас нет такой близкой моему сердцу картошечки, нет моркови, свеклы...

Теперь Ожеганова отвечала прямо:

— Зачем выращивать у себя то, что дешевле купить в лавке? Я о каждой грядке думаю и считаю это правильным. Коли уж заводить хозяйство, так чтобы оно чувствовалось, а так что же попусту руки на поливку вытягивать!

Но Баранов не стал отвечать прямою на прямую и называть все это тем словом, которое давно просилось сорваться с языка. Разговор дальше не пошел. Баранов смолчал, но, чтобы как-то проучить Ожеганову, он принялся рвать на грядках цветы, выбирая самые лучшие. Выбирал и приговаривал:

— Ну и букет же сегодня я подарю вашей внучке Лидочке! Ну и букет!..



Губы Ожегановой дернулись.

— Зачем же ей букет, когда она среди цветов живет?

— Одно — цветы на гряде, другое — в комнате букет, — возразил Баранов, продолжая нарочито энергично орудовать на грядках.

Серафиму Григорьевну слегка зазнобило. Но запретить рвать цветы было нельзя. В ее ушах стояли слова Василия о доме, который он может распилить, если этого захочет его друг Аркадий.

А тем временем Аркадий Михайлович рвал и рвал цветы. Букет уже не умещался в его руке. Сердце Серафимы Григорьевны наливалось злобой, но Баранов и не думал останавливаться.

И только после того, когда букет превратился в огромный цветочный сноп, он сказал:

— Наверное, уже хватит. Думаю, такой букет стоит никак не меньше пятидесяти рублей, а?

— Пятидесяти? И в семьдесят пять не уложишь, — процедила, стараясь улыбнуться, Серафима Григорьевна.

— Пожалуй, что и в семьдесят пять не уложишь, — согласился Баранов и, положив букет в борозду, достал бумажник, вынул из него сторублевку, подал ее Серафиме Григорьевне.

А та, запрятав руки за спину, словно боясь, что руки помимо ее воли возьмут деньги, закричала:

— Нет, нет, нет... Вы что?

— Да будет вам, — стал уговаривать ее Баранов. — Неужели вы думаете, что я буду преподносить дочери своего друга даровые цветы? Да что я, оккупант какой? Вы же их растили, выхаживали, пропалывали, а тут явился даритель за счет чужих рук... Берите, берите! Не ворованное же продаете, а кровное, свое.

Руки Серафимы Григорьевны дрогнули, затем появились из-за ее спины и потянулись к деньгам.

— Только уж если вы хотите по совести, так и я хочу, чтобы на моей совести обиды не оставалось. Пятьдесят рублей — и ни копейки больше!

— Семьдесят пять! — потребовал Баранов. — Я тоже не люблю, когда меня обижают.

— Извольте, — согласилась Ожеганова и полезла в карман своей широкой кашемировой юбки за сдачей. Она принялась отсчитывать двадцать пять рублей засаленными рублями, трехрублевками, принесенными Панфиловной.

Это уже было невыносимо для Баранова. Он не мог выдержать дальше этой сцены.

— Не надо сдачи. Рассчитаетесь потом — цветами. Это же не последний букет.

— Как вам будет угодно, Аркадий Михайлович, — сказала она, одаряя его уже не деланной, а настоящей, живой улыбкой неподдельной радости. — Пусть эти денежки пойдут на приданое Лидочке, — солгала она. Сто рублей канули в глубокий карман темно-синей юбки Ожегановой. А букет был водворен на косоногий столик в комнате на втором этаже, где жила Лидочка.

Баранов долго разглядывал лепестки цветов. Торопливое тиканье будильника напоминало, что время движется. И время серьезное.

А в этом доме не чувствуется ни течения времени, ни большого дыхания жизни. Будто ничего не происходит в мире. Будто не здесь, не на этой уральской земле, упал сбитый самолет-шпион. А это было так недавно и так близко...

Близко, но за изгородью трех садов, соединенных в один. А то, что происходит за изгородью даже в ста шагах, происходит где-то за границей интересов людей, населяющих этот дом.

Газеты приходят сюда молча. Молча ложатся они в стопку на угловом столике. Молча дожидаются очереди стать оберткой или кульками для расфасовки ягод.

Все проходит мимо.

Где-то поднялась самая большая доменная печь в мире. О ней не знает даже Василий. Дом закрыл все. Завод. Край. Страну. И кажется, космос, где являются миру звездные чудеса нашей науки.

Черт возьми, как же мириться с этим мещанским стяжательским болотом?.. Не страшнее ли оно минного поля, где умирал Василий?

Можно ли оставить его в этой трясине ложного семейного благополучия?..

Но спокойно, спокойно, Аркадий! Зыбкое болото не любит резких движений. Нужно ступать мягче, обдуманно и безошибочно...

Дай дням свое течение. Обходной путь иногда бывает самым коротким.

## XVIII

Если трагическое не перемежается с комическим и наоборот, то не может получиться ни трагедии, ни комедии.

Трудно сказать, что преобладало в Серафиме Григорьевне, трагическое или комическое, когда она мысленно произносила страшные ругательства, адресованные добрейшим старикам Копейкиным.

Чем же вызвано это злобное кипение Серафимы Григорьевны? Что случилось?

Случилось нечто на первый взгляд не заслуживающее внимания. Но то, что произошло, потрясло Серафиму Григорьевну, как говорится, до основания. Дело в том, что почти вдвое снизился ежевечерний сбор яиц в курятнике. Серафима Григорьевна могла бы объяснить это тем, что куры, запертые в тесном вольере, лишены животных кормов — червей, личинок, гусениц. Об этом ясно говорится в книжках по птицеводству, которые читает Серафима Григорьевна. Можно было бы объяснить это все и жарой, которая тоже сказывается на курах. Но как объяснить то, что Копейкины выбрасывают яичную скорлупу в таком количестве, что Серафиме Григорьевне нетрудно было по этой скорлупе, добытой из помойной ямы, вычислить количество яиц, съедаемых стариками? Исследуя скорлупу, она установила, что Копейкины ежедневно съедают от четырех до шести яиц, сваренных вкрутую или в «в кошелек».

Могли ли бы так роскошествовать Копейкины, если бы курятник Серафимы Григорьевны был закрыт на замок? И она закрыла бы его, потому что для кур был проделан особый лаз в вольере и через этот лаз, конечно, нельзя проникнуть в курятник. Но тонкость отношений Василия со стариком Копейкиным не позволяла Серафиме Григорьевне прибегнуть к замку. Каким бы невинным и

маленьким ни был этот замок, от него неизбежно падает слишком большая тень явного подозрения на Копейкиных.

Она могла бы, разумеется, пренебречь этой потерей четырех и, самое большее, шести яиц в день. Пусть на круг пять. Но если шесть перемножить на тридцать, то за месяц получается сто восемьдесят. Если сто восемьдесят яиц перевести в деньги по сбытовой цене, которую дает Панфиловна, то получается значительная сумма.

Можно бы пренебречь и этой суммой. Можно! Потому что любящие землю и растения Копейкины, теща свою охотку, дают Серафиме Григорьевне немалый прибыток. Можно закрыть глаза — пусть жрут. Есть же на земле «принципы». Например, Панфиловна по своим «принципам» является «принципиальной» хапугой и грабительницей, которая может за уворованную луковку или пучок хрена клясться Христом-богом и приводить в доказательство своей невинности хитроумные заповеди своей секты.

Это Серафима Григорьевна знает, поэтому ведет себя с Панфиловной в открытую: «Секта сектой, а мощна мощной. Подавай, ханжа, до копеечки». Тут отношения ясные: «Нажилась — твое, проторговалась — богом не прикрывайся. Убытки тоже твои». Совсем другое дело Марфа Егоровна Копейкина. Ей даже намекнуть нельзя, что, мол, куры мало стали нестись. Нужна тонкая и точная проверочка.

Во-первых, снесенные в курятнике яйца можно метить маленькими точечками химическим карандашиком. Ни тот, ни другой эти точки сослепу не разберет. А когда будут съедены меченые яйца, помойка свое слово скажет. Серафима Григорьевна во имя установления истины выгребет из ямы все скорлупочки и найдет на них свои точечки.

Это первая улика. Найдется и вторая. Если взять самые тоненькие, как паутиночки, шелковые серенькие ниточки да протянуть их под порожком двери в курятник, да так, чтобы нога похитителя яиц не почувствовала, когда она порвет ниточку, то Серафима Григорьевна точно будет знать, что в курятник хожено без нее. Не сама же по себе порвалась ниточка.

Так было и сделано Серафимой Григорьевной. Так было сделано, да недодумано. Старики Копейкины давно, задолго до приезда

Баранова, чуяли подозрения Серафимы Григорьевны, а избыть их не могли. Как скажешь ей: «Неужели тебе не стыдно, Серафима Григорьевна, такое думать про людей?» Тоже палка о двух концах. Серафима Григорьевна живехонько вывернется: «Да что вы... Да разве я могла?.. Вам-то как не стыдно такую напраслину думать обо мне!» И они же окажутся виноватыми.

Вот так и молчали обе стороны до тех пор, пока Марфа Егоровна не увидела, как Серафима Григорьевна натягивала нитки в курятнике. Копейкина, не поняв сразу, «что и к чему», наконец догадалась — и к старику:

— Проша! Подлость-то какая... Нам она проверку учиняет.

Узнав об этом, Прохор Кузьмич решил усюветить Серафиму Григорьевну. Усюветить тоже не простым способом. Без шума, без гама. Даже без слов.

Он ежедневно начал докладывать в гнезда столько яиц, сколько их недоставало по числу кур. Скажем, снесли сегодня двадцать восемь кур четырнадцать яиц — Прохор Кузьмич добавляет еще четырнадцать. И что ни день, то сто процентов. Ни одной курицы выходной. Все каждый день несутся.

Задумалась Серафима Григорьевна. Задумалась и поняла, чья это работа. Понять-то поняла, да как дальше быть, не знала. Если признаться, то, значит, надо просить прощения. Но разве это возможно для самолюбивой Серафимы Григорьевны?

Злую отместку придумали для нее Копейкины. Серафима Григорьевна начала было и так и сяк умасливать стариков, а они ни в какую. Даже ухом не шевелят. Докладывают каждый день в гнезда яйца, и вся недолга. Что ни день, то двадцать восемь сполна.

Узнал об этой тайной войне и Аркадий Михайлович.

Баранова это вначале рассмешило, а потом потрясло.

— Ну, погоди же, Серафима Григорьевна! — погрозил он курятнику.

Копейкин испугался было и стал просить Аркадия Михайловича не говорить ничего Василию.

— И без этого у него голова кругом идет.

— Не беспокойтесь, Прохор Кузьмич, — предупредил Баранов. — Я доведу эту тайную войну до мирного конца так, что агрессор сам на колени встанет.

И на другой день в курятнике слышались вопли Серафимы Григорьевны. Вопли и восклицания самобичевания. Иного выхода не было. Сегодня Серафима Григорьевна, кроме обычных двадцати восьми яиц, обнаружила в гнездах еще тридцать, из которых двадцать были со штемпелем «Диетические. Гастроном № 2», пять были печеными, со следами темных ожогов на боках, и еще пять предстали на сковороде в виде яичницы-глазуньи. Яичница оказалась «приправленной» пятью катушками серых шелковых ниток.

Теперь оставалось только признаться и каяться.

— Спасибо тебе, Прохор Кузьмич, — завсхлипывала Серафима Григорьевна, — умертвил ты сегодня во мне ненасытного змея! Так ему и надо, окаянному шептателю-клеветателю.

Баранов сидел в это время в тени за садовым домиком и читал газетную статью о недалеких днях, когда осуществится давняя мечта полета человека в космос. Чтение прервалось причитаниями Серафимы Григорьевны. Она убеждала Копейкина, что всеми силами боролась со змеем жадности и подозрительности, а он не давал ей покоя даже ночью, науськивая ее на зло, нашептывая ей несусветные мерзости.

— Сидит этот змей во всех нас, — твердила она, — сидит. В одних большой, в других маленький. Я ему твержу: «Хорошие они старики с Марфой Егоровной, честные». А он мне, губитель, нашептывает: «Ой ли? Хорошие ли? Проверь. Натяни нитки в курятнике. Натяни — узнаешь». Я и послушалась его, окаянного...

— Ну и ладно... Бывает... Случается, — смягчал ее признания Прохор Кузьмич, довольный, что все кончилось миром.

— Теперь все. Конец ему, злыдню. Спасибо тебе за урок, за счастливое избавление, — закончила Серафима Григорьевна свои объяснения и спросила: Сколько я тебе должна яиц, Прохор Кузьмич?

Прохор Кузьмич, поверивший в искренность Серафимы Григорьевны, ответил:

— Да что нам считаться с тобой, Серафима Григорьевна, из-за какой-то сотни-другой яиц...

— То есть как это сотни-другой? Когда же ты успел такую цифру доложить в мои гнезда? Если я с открытой душой, так ты-то зачем...

— Хотела она сказать: «Зачем пользуешься случаем?», но осеклась. Осеклась и снова завилыла хвостом: — Жив еще, видно, змей-то во мне. Жив, окаянный! Опять шепчет: «Усомнись, усомнись!» — и я из одного греха в другой. Все до яичка отдам... Может, деньгами возьмешь? Почем они нынче на рынке?

Прохор Кузьмич не мог далее слушать ее.

— Хватит! Мне ничего не надо. Голова кругом идет... Часу бы не оставался здесь, коли б не Васька...

И тут Прохор Кузьмич добавил те слова, которые обычно не пишутся на бумаге, плюнул и ушел.

Стало тихо. Баранов снова вернулся к статье о полете человека в космос. Но статья не читалась. В ушах все еще стояли гнусные, лживые заверения Серафимы Григорьевны да слышалось, как стучали о сковородку клювами куры, доедающие в курятнике яичницу-глазунью.

Мечта о полете в небо... Реальное, близкое завоевание космоса... И... меченая яичная скорлупа...

## XIX

Василий Петрович Киреев заметно повеселел. Серафима Григорьевна сообщила зятю, что ее родня обещала ей в счет зимнего мяса кое-какие деньги. И если к этому кое-что ссудит на годок-другой верный друг и золотой человек Аркадий Михайлович, то можно покупать лес и нанимать плотников.

На самом деле никакая родня Серафиме Григорьевне не захотела бы давать в долг даже трех рублей, зная ее способность не платить долгов или по меньшей мере растягивать выплату на долгие времена.

У Серафимы Григорьевны, как это и предполагал Прохор Кузьмич, а за ним Баранов и, наконец, мы с вами, были сбережения. И эти сбережения хранились в большом глиняном горшке, закопанном под полом.

Горшок был жирно смазан снаружи и внутри свиным салом, чтобы через поры его стенок не проникла влага внутрь и не повредила деньги. Сверху он был покрыт аптекарской клеенкой, крепко-накрепко привязанной медной проволокой к его шейке. Через клеенку также не могла проникнуть влага, к тому же клеенка не подвержена гниению.

Драгоценный сосуд она закопала еще прошлой осенью. В нем было считаных и пересчитанных тридцать тысяч рублей. Они береглись для Ангелины, о чем ей не говорилось, потому что она могла в приливе нежных чувств рассказать об этом Василию. Тогда прощай все... Закопав горшок, Серафима Григорьевна прятала теперь новые сбережения в мешке с неприкосновенным запасом овсяной крупы. Мало ли что случится и уже случилось за эти годы. Мешок овсянки не ахти сколько стоит, а при тяжелом случае, черном дне, ему не будет цены.

К мешку никто не прикасался. Ни дочь, ни зять не спорили с блажью Серафимы Григорьевны. И мешок с овсянкой стал вторым хранилищем денег. Там уже было тысяч до десяти. По расчетам Ожегановой, к зиме должно прибавиться еще двадцать. Расчет был на кусты смородины, выращенные из черенков, на побеги крыжовника и прочую «мелочь», которую постороннему нельзя было заметить и проверить. Сюда же относились и цветы. Нашелся кроме Панфиловны новый скупщик. Он сбывал их через киоски под видом цветов из государственного цветоводства.

Дело незаметное, а тысячное. И главное — оптом.

Теперь появились надежды скопить сто тысяч. А при ста тысячах не так страшна дальнейшая судьба дочери. Все-таки никуда не уйдешь от того, что Лина моложе Василия на целых пятнадцать лет. И выдана она была за него не по большой любви, а «по целесообразности жизни». Именно так формулировала Серафима Григорьевна. И если вдруг случится какая-то осечка, то при ста-то тысячах да при дележе дома можно и другого, да еще помоложе, к рукам прибрать.

Пусть Серафима Григорьевна не желала для своей дочери иного счастья, нежели с Василием Петровичем, но не желать — одно, а предвидеть всякое другое.



И если есть эти самые, которые «не пахнут», так и горе — в полгоря, и беда — в полбеды. Безусловно, хорошо бы догнать сбережения до полутора ста тысяч. И может быть, она это сделает, если сумеет уговорить Василия выбить из рук соседа Ветошкина его хитроумную наживу и переманить к себе его работницу Феньку. Тогда можно будет прикончить с козами, со свиньями и со всеми этими мешкотными цветочными делами. Да разве согласится на это Василий?..

Нечего и думать! Нужно быть довольной и тем, что есть. Только бы не захворать, не надорваться! Только бы не вздумали дать квартиру внуку Копейкина. Тогда придется сильно сокращать хозяйство.

Рассуждая примерно так, Серафима Григорьевна тем временем решила перекопать горшок в свинарник или спрятать его, на худой конец, в тот же неприкосновенный мешок с овсянкой.

Плотники могли появиться со дня на день, и при них будет труднее вырыть дорогой горшок. Поэтому нужно сегодня же, пока никого нет дома, произвести намеченное.

Серафима Григорьевна вооружилась маленькой саперной лопаточкой, полезла в подпол.

Добравшись до места, где был зарыт горшок, она принялась отрывать его. Отрывать спокойно, не спеша, чтобы не повредить клеенки.

Она и не предполагала даже, какой печальный сюрприз ждет ее.

Главное управление государственных сберегательных касс хорошо бы оплатило труд сценариста и режиссера, воспользовавшихся этим сюжетом для короткометражного фильма, который можно было завершить призывом:

«Храните деньги в сберегательных кассах. Удобно, выгодно и надежно».

Это в скобках.

Не будем, однако, удлинять паузу и останавливать развитие действий под полом, где ожидается не совсем обычный, но вполне закономерный крах...

Только не нужно думать, что горшок кем-то выкраден. Этого не могло быть. Не следует также полагать, что Серафима Григорьевна не нашла места, где был зарыт горшок. На этом месте покоился довольно большой камень.

Горшок был найден сразу же и вскрыт, но денег в нем не оказалось. Они, разумеется, не истлели в земле. Их также не съела и домовая губка.

Деньги съели мыши. Голодные мыши в голодную зиму. Учув сало, они прогрызли клеенку, проникли в горшок и стали есть пропахшие свиным жиром и просаленные многими руками сторублевки. Пусть эта пища оказалась не так сытна, но все же это была еда и ею можно было обмануть голод.

И мыши обманули его на тридцать тысяч рублей, в исчислении до 1961 года. Мышам, впрочем, была безразлична и сумма денег, и год выпуска. Деньги пахли. Дразнили аппетит. Поэтому от них осталась только бумажная труха. Эту труху да мышиный помет и обнаружила Серафима Григорьевна. Едва не лишась чувств, она еле выбралась из подпола. Но сознание вскоре вернулось к ней. Она поняла, что, потеряв тридцать тысяч, можно потерять и все остальное, если кто-нибудь узнает о ее горшке.

Превозмогая себя, она выкинула в подтопок бумажную труху, сожгла ее и залилась горькими слезами, запершись в своей комнате.

Многое теперь приходило ей в голову. Даже бог, в которого она никогда не верила. Не он ли наказывает ее?

Но бог так же скоро вышел из ее головы, как и вошел в нее.

Она винила только себя. Только себя. Надо же было так опростоволоситься, ей, такой тертой, такой опытной женщине.

В доме хлопнула дверь. Послышались шаги. Это прошел наверх Баранов. Следом вошел и зять с Ангелиной. Видимо, все они приехали на его «Москвиче».

Ничего не оставалось, как брать себя в руки. Иного выхода не было.

Серафима Григорьевна вышла из комнаты и, зевая, сказала:

— Надо же было столько проспать!

Никто ничего не заметил. Никто, кроме Баранова. Его удивили дикие глаза Серафимы Григорьевны и улыбка душевнобольного человека.

В ее левом глазу прибавилась косина и остекленение.

XX

Касса взаимопомощи, друзья и, наконец, Серафима Григорьевна дали деньги для ремонта. Ожегановой ничего не оставалось, как убавить в мешке с овсянкой слезами омытые тысячи. Обещала же...

Были куплены половые доски. Хорошие, сухие. Недоставало бревен для балок. Были бы бревна — можно нанимать плотников. Тоже нелегкая задача. Строительный сезон в разгаре.

Кузьма Наумович Ключников не приходил просто так. Он являлся только по делу и только наверняка.

Он пришел к Василию Петровичу вечером, после ужина. Пришел в габардиновом макинтоше и, в цвет ему, синем берете. При крагах и с тростью. Он заметно прихрамывал.

Баранова заинтересовало это новое лицо, начиная с внешности. А внешность Ключа можно определить как помесь молодящегося стилиста с ловкачом валютных спекуляций. В нем можно было признать и поездного вора, прикинувшегoся снабженцем.

Кузьма Ключ, поздоровавшись с Василием, запросто отрекомендовался Аркадию Михайловичу героем тыла, инвалидом второй группы. Первое было наглядным враньем, второе — формальной правдой. Но какой правдой? Болтаясь по заводам, бегая от войны, Ключников в конце концов почувствовал, что отправки на фронт все равно не миновать, и тогда искусно поломал себе ногу на строительстве, обвинив в этом охрану труда, притупившую бдительность в боевое, военное время.

Вылечившись, Кузька остался инвалидом, негодным для военной службы. Протолкавшись войну на стройках, добившись каким-то образом медали и трех грамот за «доблестный» труд, он вышел после войны на инвалидность. Сломанная нога сослужила ему и вторую «службу». Он получил «законное» право не работать. А это ему было нужнее всего. Для него открылись пути «свободной

деятельности свободного предпринимателя». Так он аттестовал себя в надежных кругах.

Кузьке Ключу не следовало бы отдавать столько строк. Но Кузька, хотя и не распространенное, все же существующее печальное явление в нашей жизни.

Говорят: «Было бы болото, а черти найдутся». Это касается и Кузьмы. Не самому лишь себе обязан Ключников своим процветанием, но и болоту. А болото было.

Известно, что всякий выстроенный личный дом увеличивает жилищный фонд страны. И застройщик уже не требует коммунального жилья. Этим и объясняется большая помощь индивидуальным застройщикам и материалами, и денежными ссудами. Но можно замутить и чистую воду. Не все застройщики руководствуются благородными намерениями — возвести жилье и этим помочь и себе, и своему государству. Иногда за жильем тянется и многое другое. К хорошему делу порой налипает клейкая, подчас и несмываемая грязь. Она-то и порождает дельцов, подобных Кузьке Ключникову. Подобные люди присасываются к каждому дачному, садовому городку, ко всякому поселку, где граждане строят своими силами свои жилища. Их распознаешь не сразу. Не все из них откровенно наглы и развязны, подобно Ключу. Некоторые жульничают хитрее, осторожнее, смиреннее, якобы нужды ради. Но суть та же.

— Ну как, Петрович, — начал Ключ, — дымишь или только собираешься?

— Дымлю, — ответил Киреев.

— Я так и думал. Поэтому и зашел. Могу тебе уделить сорок минут. Еще трое ждут. Прямо хоть разорвись.

Далее Ключ, не спрашивая Киреева, в чем его нужда, сказал:

— Ну как, Петрович, — начал Ключ, — дымишь или только собираешься?

— Дымлю, — ответил Киреев.

— Я так и думал. Поэтому и зашел. Могу тебе уделить сорок минут. Еще трое ждут. Прямо хоть разорвись.

Далее Ключ, не спрашивая Киреева, в чем его нужда, сказал:

— Балки есть. Плотники будут. Процент за хлопоты старый. Хотя во нынешнему строительному размаху в требовалось бы его уполуторить. Трудно... Он как трудно...

Как бы в доказательство сказанного, Кузька стал вытирать со лба пот своим синим беретом.

— Подрядно, стало быть, не выйдет, — принялся оговаривать он условия найма. — Неизвестен объем работы. То ли менять венцы, то ли нет... Платить — поденно. Половина косой на рыло. Харчи твои. Дешевле — никак. Могу дать четыре первых топора. Больше никак. И этих снимаю с одного денежного объекта.

Аркадий Михайлович слушал и не верил своим ушам. Перед ним был самый отпетый предприниматель, подрядчик, разговаривающий так, будто дело происходило не на советской земле.

Василий сидел, опустив голову, что-то прикидывал, высчитывал, а потом тихо сказал:

— Кузьма Наумович, может быть, по сорок рублей на человека в день... Ведь ты же и с них возьмешь тоже...

На это Ключников заметил:

— Василий Петрович, регламент на исходе. Нет — так нет. Я в обиде не буду. А что касается, если плотники мне на пол-литра дадут, это их добрая воля. Зачем тебе болеть об ихнем магарыче? У тебя еще восемь минут с секундами. Решай. Думай. Не тороплю. Но не забывай, какая я фирма. Брать умею, но выдаю по цене. Любая комиссия не найдет изъяна.

— Сорок пять! — слышался умоляющий голос Киреева.

В это время на крыльце появилась Серафима Григорьевна. Развязность Ключа сразу куда-то исчезла. Он побежал к ней навстречу и почтительно раскланялся:

— Добрый вечер, Серафима Григорьевна...

А она:

— Здравствуй, Ключ. Слушала я вас, слушала через открытое окошко да и вышла свое слово вставить.

— Как вам будет угодно... Вы человек понимающий, и вам ясно, что в такое время...

— Ясно, — сказала Серафима. — Зятюшке только, доброй душе, не все ясно. Привык уступать, а я его трудовым денежкам цену знаю. Поторопился он сорок пять на день дать. Ну да ничего. Сказано — не подписано. Сорок, Кузя. Сорок, и ни рубля выше.

— Как же так — сорок, если уже было сказано: сорок пять...

— Я, Кузя, не часто свой голос утруждаю. Сорок! — повторила она властно и ушла.

Ключников потоптался возле крыльца, где происходил разговор. Закурил. Посмотрел для отвода глаз на часы и сказал в открытое окно:

— Только для вас, Серафима Григорьевна. — Потом обратился к Василию: Никак не могу противоречить женщине. Пускай будет сорок. Задаток не нужен. Верю.

Ключ манерно распрощался. Повернулся на каблучках и натужно захромал к воротам, скрипя протезом и крагами.

Баранов нервно курил, косясь то на уходящего Ключа, то на окно, где сидела торжествующая Серафима Григорьевна, провожающая Ключа улыбкой, полной презрения, как будто она имела право на такую улыбку.

Баранов кипел от негодования.

XXI

Аркадий Михайлович оставался загадкой для Серафимы Григорьевны. С одной стороны, министр министром. И по одежде, и по уму. С другой стороны, мужик мужиком. Самые простые слова и хватистые руки. Кем он собирается работать у них в городе, на какую работу его хотят определить — спросить было неудобно. Да и едва ли он сказал бы ей.

Она уже заводила разговор на эту тему, но Баранов ответил, что тайны он не делает, но и опережать события не собирается. Частенько уезжая в город, он тоже не объявлял, где бывал и что делал.

Серафима Григорьевна откровенно побаивалась его. И жена Василия Ангелина Николаевна — избегала разговоров с ним. Его карие, добрые и чуть насмешливые глаза спрашивали ее: «А как вы, Ангелина Николаевна, относитесь к своему мужу? Как вы относитесь к его детям?»

Как она относится к его детям? На это ответить ей было довольно легко: никак. Ее отношение к ним состояло в том, что у нее не было с ними никаких отношений. Кроме коммунальных. Живут в одной квартире — и все. И она этого не скрывала.

А вот как она относится к Василию?.. Ответить на этот вопрос, казалось, не так-то просто. Не так-то просто потому, что Ангелина и сама не знала, не выяснила за эти четыре года своего отношения к Василию.

С одной стороны, она познала с ним первые радости любви и бывала счастлива до крайнего накала свечения. Временами ей казалось, что она в самом деле светится, горя изнутри. Ангелина и мысли не допускала, что все это мог ей принести кто-то иной, кроме Василия.

С другой стороны, она отказывалась стать матерью и все еще что-то проверяла. Чего-то не хватало в ее чувствах к мужу. Может быть, и очень небольшого, но очень нужного, того, что было в ее чувствах к Якову Радостину. Чего-то не хватало с того памятного дня, когда она согласилась выйти за Василия замуж. Может быть, мать поторопила цветение ее любви, которая теперь не дает завязи полноценного чувства.

Когда Яков Радостин всего лишь подходил к ней, у нее замирало сердце.

Может быть, в отношениях между нею и Яшей Радостиним, рассуждала сама с собой Ангелина, «электрического» было больше, чем настоящего и разумного...

Может быть.

А что настоящее и разумное?.. Никто не знает, никто не скажет, даже она сама, какой была бы ее любовь с этим парнем, если б она была.

В любви с Василием началом всегда был он, а она — как бы эхом, отзывающимся тем громче, чем сильнее начало, породившее его. А

Яков и она оба были неначавшимся началом и взаимно ответным эхом, которому не суждено было прозвучать.

Может быть, в этом и есть мудрость и сила любви, а может быть, это всего лишь молния, ослепительно вспыхивающая в ночи.

Радостин мог стать только молнией. А разве жизнь — это только сверкание, а не то, что есть теперь? Такое ровное, благополучное, надежное. Домовой грибок — это несчастный случай, который забудется через месяц. Уже Кузька доставил балки. Василий взял отпуск. Не минует и двух недель, как все пойдет своим чередом. Уедет и Баранов вместе со своими пытливыми глазами. А его глазам, как, впрочем, и самой Ангелине, хочется знать: нет ли в ее отношениях к мужу корыстный примесей?

А эти примеси, кажется, есть. Иногда даже кажется, что примесей значительно больше, чем всего остального, и ей становится стыдно перед людьми, перед собой. Тогда она, ища успокоения, становится необыкновенно ласковой и внимательной к мужу. Опустилась перед ним на колени, снимает его рабочие сапоги. Приносит в тазу теплую воду, сама моет и вытирает его ноги, отстоявшие у печи нелегкую плавку. У нее тогда просыпаются нежные чувства и к Лиде. Она делает ей подарки, упрекает мать за придирчивость к падчерице. И это на время успокаивает Ангелину. Она не кажется себе «арендованной» и пошедшей на сговор со своими чувствами, убеждается в искренней преданности своего сердца Василию, единственному, первому и неповторимому.

Такими чувствами она жила и в эти дни, но старуха Панфиловна сегодня шепнула ей, что вернулся Яшка Радостин. При шляпе. В узконосых чибриках. В дорогом кремовом «спинжаке», а на «спинжаке» две колодки. Одна — целинная медаль, вторая — «Знак Почета». Вот тебе и на!

Сердце Ангелины застучало... Застучало так, что захотелось вырвать его, растоптать, размельчить и скормить свиньям.

Но этого можно хотеть только в порыве самобичевания, а сделать нельзя. Сделать нельзя, но справиться с сердцем необходимо.

Вечером Кузька Ключ привел плотников. Завтра начинается вырубка полов. Суэта строительства отвлечет Ангелину. Она снова войдет в свое русло жизни, хотя она из него и не выходила. И,



вообще-то говоря, ничего особенного не случилось и, надо думать, не случится.

## XXII

Ломка полов началась стремительно. В шесть топоров. Четыре плотника, Василий и Баранов. Уже артель. А после обеда прибыли нежданные резервы. Еще четверо: сталевары Афанасий Юдин и Веснин, первый подручный Василия Петровича Андрей Ласточкин и Ваня — сын.

— Пришли посубботничать, повечерничать, какую там никакую чуткость выразить! — выпалил скороговоркой Юдин и представился Баранову: — Будем знакомы!

А Веснин Юдину в масть:

— Ломать — не строить, и металлург за плотника сойдет. Я со своей снастью, — предъявил он лом.

— И я, — в том же веселом тоне продолжал Андрей Ласточкин. — Без подручного нигде не сподручно. Главное — покрикивать будет на кого и найдется кому сказать высокоградусное словцо. Приказывай...

С треском, с визгом больших гвоздей, когда-то вбитых, казалось, намертво, отдирались толстые, шестисантиметровые половые доски. С ними не церемонились. Не на перестил снимались они, а на выброс.

Подковырнув ломом одну пластину ряда черного пола, остальные вымахивали с руки. Многие из них были здоровехоньки. Но коли такая заразная хворь, выбрасывалось и относилось в дальний угол участка все подряд, чтобы сжечь вместе с губительной губкой.

Кто ломает, кто вырубает, кто таскает... Перекрытия не стало так быстро, что и не верилось.

Снова появился старый техник Мирон Иванович Чачиков. Обследуя нижние венцы, он нашел их вполне здоровыми, посоветовал лишь для профилактики перед промазкой «адской смесью» на всякий случай состругнуть рубанком или хотя бы соскоблить топором верхний слой бревен.

Черт оказался не так страшен, как он виделся.

Чачиков тоже посоветовал снять на штык, а лучше на два штыка землю подпола, затем полить ее жидкой смесью глиняного раствора с антисептиками, и если возможности позволят, то нанести пальца на четыре толщиной покрытие из тощего бетона.

Желая показать, как это сделать, Чачиков взял лопатку и повел Василия с Барановым в обнаженный теперь подпол. Повел их в ту часть дома, где был зарыт Серафимой Григорьевной злополучный горшок. Когда старый техник хотел приступить к показательной копке, он увидел один, а потом другой клочок сторублевки.

— Как это понимать? — спросил Чачиков, нагибаясь и поднимая клочки. Обгрызены кем-то... Или, может быть, истлели? — ни к кому не обращаясь, говорил он, рассматривая клочки. — У этого оба номера целы. Значит, можно обменять в банке.

Баранов посмотрел на Василия, но Василий не хотел верить тому, что читал в глазах товарища.

— Наверно, обронули пьяные плотники, когда строили дом, — сказал он не очень убежденно, а сказав, увидел еще клочок сторублевки и наступил на него сапогом.

Заметив это, Аркадий Михайлович сказал:

— Да, конечно, обронули плотники. Не иначе.

Тут он, как и Василий, обнаружил еще один обрывок сторублевки и так же, как Василий, наступил на него, а затем обратился к Чачикову:

— Нас, кажется, зовут к столу. Пошли, пока не остыло. Я так голоден сегодня... И так хочется выпить...

— И мне, — присоединился Василий.

Чачиков передал Василию найденные клочки сторублевок:

— Коли в твоём доме нашлись, значит, это твои деньги.

Дальнейшего хода улика не получила. Да и не могла получить. Однако забыть о ней Василий не мог.

В саду ждал ужин. Плотников уже накормили, и они ушли отдыхать в шатровую палатку, сооруженную из половинок.

Первый подручный Ласточкин раскупоривал принесенное им и купленное Серафимой Григорьевной. Юдин и Веснин любовались суетней карпов, вырывающих друг у друга брошенные им куски хлеба. В каждом настоящем мужчине не перестает жить мальчишка. И в самом деле — это зрелище! Вода кипит. Карпы выскакивают, стараясь своим телом утопить еще не намокшие куски.

Надставили стол другим, принесенным из дому. Баранов сходил за Копейкиным. И тот пришел, довольнешенек. Старику было любо посидеть в такой большой мужской компании. А кроме того, у него была давняя тайная задумка рассказать одну быль-небыль, как бы невзначай, «к слову доведясь» и «промежду прочим», на самом деле «по существу текущего момента и в точку».

Тары-бары-растабары. Настроение у всех хорошее. Не так часто собираются они все вместе. Весел и Василий. Ему не надо менять нижние венцы, вывешивать дом, искать домкраты, бояться за перекос стен.

Копейкин в свои семьдесят два мог выпить много, но пил он всегда и особенно сегодня в норму. Он то и дело ввертывал шутки, прибаутки, загадки, ища зацепки к началу задуманного им пересказа были-небыли, которая именно сегодня, как никогда, попадет в хорошие уши, а попав, не выдуются из них.

Подвыпив, Мирон Иванович Чачиков, изображая протодьякона, пропел:

— Здравие, благолепие и благополучие дому сему, и славному хозяину Василию Петровичу, и домочадцам его многая лета...

Василий, отвечая поклоном, сказал:

— А все-таки, братцы, тяжело быть хозяином. Вот уже четыре года, как я никуда не выезжал, нигде не отдыхал...

— Это уж так, — слышался голос Копейкина. — Коли ты попал в колдовские тенета старой ведьмы, так тебе в них и сидеть до скончания века!

Василий Петрович не понял, к чему такой разговор.

— Это в какие такие тенета, какой такой старой ведьмы?

Прохор Кузьмич тут же отозвался:

— Сказ-пересказ, верный ватерпас, про эту старую ведьму бытует. Большой правды эта небыль. Былее ее и сама быль не придумает. Чех мне один ее рассказывал.

— Какой чех? Ты же, Прохор Кузьмич, дальше завода, понимаешь, лет двадцать нигде не был!

— Оно так, Васенька, только к нам-то со всего света разные люди ездят! И приезжал как-то один премудрый чех. Очень башковитым человеком себя показал. По-русски этот чех лучше нас с тобой может. Он, видишь ли ты, еще в ту германскую попал в плен. Осел. Женился на русской. Дети пошли. Младшенькую-то за нашего парня со Стародоменного замуж выдал. Вот и приезжал внука проведать. Внука повидал, да и меня встретил. Внук-то его и мне дальняя родня. По Марфе Егоровне. Встретились мы с ним и, как полагается, залили по двести пятьдесят граммов «зверобоя» и принялись друг перед другом слова разные метать. Я — про уральские колдовские случаи, а он — в международном масштабе и с идейно-политическим прицелом. С дальним. Не на два-три года, а, можно сказать, с проглядом в светлые времена...

— Какой чех? Ты же, Прохор Кузьмич, дальше завода, понимаешь, лет двадцать нигде не был!

— Оно так, Васенька, только к нам-то со всего света разные люди ездят! И приезжал как-то один премудрый чех. Очень башковитым человеком себя показал. По-русски этот чех лучше нас с тобой может. Он, видишь ли ты, еще в ту германскую попал в плен. Осел. Женился на русской. Дети пошли. Младшенькую-то за нашего парня со Стародоменного замуж выдал. Вот и приезжал внука проведать. Внука повидал, да и меня встретил. Внук-то его и мне дальняя родня. По Марфе Егоровне. Встретились мы с ним и, как полагается, залили по двести пятьдесят граммов «зверобоя» и принялись друг перед другом слова разные метать. Я — про уральские колдовские случаи, а он — в международном масштабе и с идейно-политическим прицелом. С дальним. Не на два-три года, а, можно сказать, с проглядом в светлые времена...

— Хватит, Прохор Кузьмич, присказывать, ты сказку начинай, — попросил Чачиков.

— А будете ли слушать? — спросил Копейкин. — Сказка хоть и не столь долгая, а в половину уха ее не понять.

— Будем слушать в полное ухо. Поймем, — пообещал Василий и предложил выпить перед сказкой.

Выпили. Крякнули. Закусили зеленым луком с солью. И Копейкин обратился ко всем:

— Теперь слушайте. Только чур-чур — не перебивать.

Пересев со стула на ящик, стоявший неподалеку, расправив черно-пеструю бороденку, затем утерев ладонью серые усы, Прохор Кузьмич принялся рассказывать сказку.

### XXIII

— Вскорости или вдолгости после того, как получеловек, по прозванию педикантроп, в сознательном труде себя человеком обнаружил, началась пещерная, первобытная жизнь. Пускай ни рубанков, фуганков, станков, доменных печей тогда еще не напридумали, а жили сообща, в большой дружбе жили.

И эта большая дружба, когда один за всех и все за одного, была неписанным законом всех законов и статьей всех статей. Что добудут на охоте, то и съедят. Что соорудят, тем и пользуются. И не было между ними никакого дележа и никакой зависти. Топор ли каменный, стрела ли, копье ли считалось нашим. И труд у них был общим — кто что может, тот то и делает. Никому не приходило в голову друг дружку попрекать: я, мол, мамонтиху прикончил, мне и есть из нее печенку, а тебе — мослы обглаживать.

Не было этого. Для всех мамонтов били. Для всех плоды собирали. Для всех пещеры приютом были. Каждому солнышко равноправно светило.

Выдумал человек к этому времени бога или нет, твердо сказать не могу. И чех мне этого не сказывал. Но то, что человек чертовщиной и лешачиной всякой, чистью и нечистью леса да болота заселять начал, это уж точно. Точно и по Марксу, и по Энгельсу, и по Владимиру Ильичу. Огонь даже за тайную колдовскую силу почитался. Это я самолично читал.

Словом, зародились на земле добрые силы и злые. Чисть и нечисть. С этого все и началось. С этого самого и стал свободный человек рабом темных сил, порожденных им в темноте своей и в страхе неведения своего.

Точно так до последнего словечка и сказывал мне про это головастый чех.

И зародилась в те стародавние времена одна ведьма. Трудно сказать, какой она зародилась, писаной красотой или хитроумной прихоткой, только она была ведьмее всех ведьм. Захотелось ей не только людей, но и всю чистую и нечистую силу под себя подмять, а самой владычицей всех-перевсех владык стать. И самого бога, который, мне думается, в те годы еще не оформленным Священным писанием в невыясненных ходил. И ни Буддой, ни Саваофом, ни всяким другим Аллахом пока еще не назывался. А жил как бы безымянно и предположительно, впредь до выяснения. Ну да не о нем сказ-пересказ, а о ведьме.

И задумала эта ведьма расколоть, раздробить людей, а потом поодиночке полонить каждого.

И подбросила она незнаемое в первобытности слово — «мое!».

«Мое!»

Как это было — никто не знает. То ли полюбовника околдовала... То ли старому старейшине такой микроб в голову положила... И чех не мог сказать. Тут надо «не тят-ляп — и корापь», а понимать вглубь.

И к чему сначала пристало это слово «мое», тоже не скажу. К палке ли, которая оказалась сподручнее. К топору ли — по рукам. К собаке ли, что позалаистее. Врать не буду. Только это «мое», как сорняк в жите, так пошло в рост, что никакая сила его выполоть не могла.

И все узнали, что на свете есть не только «наше», но и «мое».

Моим стал топор. Моей стала пещера. Моим стал поделенный кусок мяса. А потом моим стал и огороженный мною клин земли. В десять — двадцать соток или в сто десятин — не в этом суть. А суть в том, что и всеобщая мать-земля, мать всего живого, стала пластаться, делиться, размежевываться, разгораживаться, по семьям, по родам, по племенам. По Сириям, Египтам, Иудеям, Вавилониям... А потом фараоны и кесари — кровавые слесари — друг к дружке отмычки начали подбирать, мечами размахивать, кровь проливать, братьев своих в полон брать. И каждый: «Мое!», «Мое!», «Мое!»

И так-то все замоёкали — хоть караул кричи. А ведьме только того и надо. Она людям новые распри нашептывает. К захватам зовет, к промеждоусобиям. Зависть распаляет. Кривду за правду выдает. Краже учит. Убийство преподает и тому подобное зло.

К той поре от ведьмы сильные отпрыски пошли. Под стать ей ведьминское отродье подрастало. Сердитые имена им мать-ведьма дала. Жадность. Подлость. Кража. Кривда. Нажива. Клевета и тому подобное. Всех не перечтешь по памяти. Да и надо ли? Каждый может ведьминской родне список составить. От нее это все исчадьё началось. Она намоёкала все зло на земле, все гадости.

А годы, как и положено, шли, копили века... Счет перевалил за тысячи лет, а слово «мое» росло да росло и переросло все слова, а с ними росла власть ведьмы и ее отродья. Сильно состарилась она, а смерть ее не брала, потому что живучее слово «мое» оберегало старую ведьму от всех напастей.

Слово «мое» породило законы, служащие ему, а потом оформило и бога, оберегающего его. Ну а про царей-королей, ханов-богдыханов нечего и говорить. Все они стали служками-прислужками старой ведьмы... окосевшей с годами на левый глаз. Она их короновала и раскороновывала или убивала по своему ненасытному велению, как мух.

Поделив белый свет на царства-государства, великие и малые княжества-сутяжества, она подсказала хитроумные знамена, на которых писались высокие слова, но всякий зрячий и честный человек читал на них одно лишь слово: «Мое!» Во славу его складывали головы несчетные миллионы людей. В честь его возводились храмы. Запугивались. Томились в темницах. Попадали в кабалу. Продавались в рабство. Работали на износ. И по сей день эта старая ведьма управляет через свое колдовское слово «мое» половиной мира, половиной белых и черных людей...

Только у нас ей после семнадцатого года тягу пришлось дать. Почвы не стало. Аминь подошел... Конечно, случается, и на нашей земле, пускает ростки старая ведьма, но уже скрытно. То садом-виноградом околдовывает, то белой свинкой завораживает или козой замоёкает... Пускай это все не былые времена, а всего лишь одна икота, однако и тем не менее, к слову доведясь, скажу...

Да нет, не буду досказывать... Не буду я к этой старой сказке новый хвост пришивать. И так, что к чему, ясно, если в два глаза глядеть, в оба уха слушать...

XXIV

— К чему ты рассказывал эту сказку, Прохор Кузьмич? — спросил Василий, нарушая общее молчание.

Копейкин обвел взглядом сидящих за столом и ответил, хитря:

— Просто так. Спьяна, наверно. Сегодня она как-то плохо сказывалась. Серафимы Григорьевны постеснялся.

Прохор Кузьмич кивнул в сторону березы.

У березы стояла Ожеганова. Мужчины ее заметили только сейчас.

— Вы-то, мамаша, как тут оказались? — удивился Василий.

— Еще бутылочку принесла, да перебивать Кузьмича не захотела, к тому же заслушалась. На доброе здоровье, Прохор Кузьмич, — поклонившись, поставила она перед ним бутылку. — Пей. Может, еще что расскажешь веселенькое, домовой гриб.

И она исчезла в кустах, словно растаяла. Словно ее и не было.

Василию стало не по себе.

— Не надо было, Прохор Кузьмич, понимаешь, приписывать ведьме косину на левый глаз...

Вместо Копейкина ответил Баранов:

— Кто какой эту ведьму видит, тот так ее и рисует. Мне лично эта сказка понравилась. К месту сказана. Кое-кого и сегодня держит на привязи эта старая ведьма. Ну да мы об этом как-нибудь еще поговорим.

«Умен же Копейкин! — подумал Баранов. — Чеха он для большего веса приплел, а сказку-то сам выдумал». И вслух добавил:

— Давайте по последней за сказку...

Василий отказался, Чачиков тоже. Копейкин, молча раскланявшись, побрел к своему домику. Он сделал свое дело. Теперь кто как хочет, так пусть и понимает. А уж Василий-то понял сказку, и она не



пройдет для него даром, произведет хоть какую-то работу в его голове.

Кое-что намотали на ус оба сталевара и первый подручный Ласточкин. Они, распростившись с хозяевами, шумно обсуждали за воротами рассказанное Копейкиным.

Серафиме Григорьевне в этот вечер стало понятно, что против нее не один Баранов и что страшная потеря тридцати тысяч, съеденных мышами, не самое тяжкое из того, что может ее ожидать.

Ухо теперь надо держать особенно остро.

Василию и Баранову постелили во дворе, под сосной. Ночь была теплая. Воздух чистый. Луна большая, полная. Она почему-то сегодня косила и, кажется, подмигивала одним глазом.

Не приснилась бы только проклятая ведьма! Василий Петрович был очень податлив на сны. Они у него как кинохроника. Сегодня — в жизни, а завтра на экране.

Хотелось проверить курятник. Да постеснялся показывать Аркадию свое беспокойство за кур. Хотя, с другой стороны, в этом не было ничего плохого. Глупо же, в самом деле, давать хорю жрать молодых несушек! Чтобы как-то оправдаться перед Аркадием, Василий сказал:

— Я не вижу ничего плохого, Аркадий, если человек вырастит лишнюю свинью или курицу. Ни та, ни другая с мясного баланса страны никуда не денется. Во всех случаях в стране будет больше на одну свинью и на одну курицу. Что ты скажешь на это?

Аркадий Михайлович промолчал. Ему не хотелось спорить с Василием по мелочам. Он готовился к большому разговору, накапливая слова и факты. А Василию не терпелось. Ему нужно было сейчас же, сегодня же выяснить, что значит насмешливая улыбка Аркадия. Эта улыбка, как и сказка Копейкина, заставляла Василия чувствовать себя виноватым. Забегая вперед, он хотел снять возможные обвинения:

— Так, понимаешь, можно дойти до того, что тебя будут винить за то, что ты свою рубаху считаешь своей. И ты никак не сумеешь защититься... Потому что никто не скажет, с чего начинается собственность — с твоей курицы или с козы... Ну что же ты молчишь?

— Я слушаю, как ты выясняешь отношения с самим собой, — отозвался улыбаясь Аркадий Михайлович. — Продолжай.

— А что мне выяснять отношения с самим собой? Во мне разногласий нет.

Сказав так, Василий посмотрел на своего друга. А тот улыбался еще насмешливее. И под его взглядом Василий продолжал чувствовать себя нашкодившим школьником. А ему не хотелось быть в этой роли. И он доказывал свое:

— А почему бы и не чесать с козы пух, если он на ней растет? Ты небось не оставляешь своего пуха на ведомости, когда приходит время получать жалованье, а вычесываешь все до копейки. И тебя никто не называет собственником. А если моя Лина получает из своей козьею кассы за свой труд, так она собственница? Стяжательница? Да?.. Да не молчи же ты, черт тебя возьми! Не будь умнее жизни. Ответь.

Аркадий, растянувшись под сосной, закрыл глаза.

— Аг-га! Сонливость напала? Уходишь от прямого ответа? — обрадовался Василий и продолжал: — Если моя теща перегоняет гладиолусы в рубли, так она служит старой ведьме? А если какая-то черно-бурая мадам покупает шубу ценой в дом, так она укрепляет советскую торговлю? А мои свиньи подрывают социализм? Мои курицы, выходит, тоже наносят какой-то вред? Но разве они не несутся в счет выполнения семилетнего плана?

Баранов слушал Василия с закрытыми глазами. Василий явно искал доказательства правильности ведения его тещей хозяйства. Так делал не только он, но и всякий начинающий торговать плодами своей земли или позволивший это делать другим членам своей семьи.

— Свой дом, — продолжал Василий, — не то что квартира. Содержание дома стоит... ого-го! И если теща, понимаешь, ловчится и я смотрю на это сквозь пальцы, то только потому, что нужно покрыть какую-то часть расходов. И потом — ведь я же вложил в свой дом мой труд, свою заработную плату. А другие получили квартиру от государства даром. Так должен я хотя бы немного сравняться с другими и возместить свой урон, свои траты?

Баранов по-прежнему не открывал глаз. Теперь это было для Василия безразлично. Кажется, он и в самом деле разговаривал с самим собой, убеждая себя в правильности своих слов.

— Нашли, понимаешь, мишень для стрельбы, — возмущался он, — семерку пик! Взяли бы туза покозырнее, с наемным трудом и потерянной совестью. Взяли бы да и показали его во всей, понимаете, наготе перерождения в верноподданного слугу старой ведьмы. Не я же, в конце концов, выпустил ее из бутылки и дал ей волю околдовывать людей и ловить, понимаешь, их в свои сети. Попробуй теперь загони ее туда обратно! Да и захочет ли кое-кто расстаться с нею, если даже она добровольно полезет через узкое горлышко и согласится быть запечатанной сургучом? «Не-ет, — скажут ей, — не покидай нас, веселая старуха. Поживи, понимаешь, с нами, милая ведьмочка, до своего полного отмирания. До коммунизма...»

Василий прошелся по дорожке. Вернулся и снова, как артист на сцене, принялся читать свой монолог:

— Я и сам не всем доволен в своей жизни. Я бы тоже хотел жить, как горновой Бажутин со Стародоменного завода. Но у него же работают семеро. Семь заработных плат. Четырнадцать рабочих рук. А у меня — двое. Ему можно не торговать малиной и оделять цветами весь цех. Приходи да рви. Дайте мне стать на ноги. Избавьте меня, понимаете, от угля и дров, от домашних хлопот и дыр, которые надо затыкать чуть не каждую неделю, — и я завтра же ликвидирую свое свиное и куриное поголовье... А сейчас я не имею прав делать глупостей. У меня семья. Я их глава. Я отвечаю за них. Понимаешь, черт тебя возьми, я отвечаю...

В это время, зарывав, тьякнула Шутка.

Василий прислушался. Повернулся в сторону курятника и сказал:

— Я не позволю никакому хорю вести подрывную работу в моем курятнике. Я его создал вот этими, мозолистыми, пролетарскими руками...

Василий ушел. Баранов открыл глаза. Кое-что в словах Василия было правдой. Но у этой правды Василия была слишком короткая рубаша. Как ни одергивай ее, как ни тяни, а голого зада не закроешь. Василий хорохорился и оправдывался, а не признавался. Он обвинял обстоятельства, а не себя. Неладное происходило вовне, а

не в нем. Но то, что Василий ищет обеляющие его причины и одобряет уклад жизни дома Бажутиных, это уже хорошо. Значит, внутри него происходит борьба, значит, он не принимает то, что есть, а лишь вынужденно уступает ему.

Лай Шутки был напрасным. Василий вскоре вернулся и лег рядом с Аркадием на вторую раскладушку. Вскоре он уснул. Никакая старая ведьма ему не снилась. Зато дурные сны видела Серафима Григорьевна. Она видела шепчущихся мышей подле мешка с овсянкой. Они сговаривались съесть оставшиеся десять тысяч рублей. Поэтому Серафима Григорьевна стонала и потела во сне.

И Ангелина видела тоже не очень приятный сон. Яков Радостин шептал ей слова любви и звал на целину. Она негодовала. Ей хотелось крикнуть, а губы не разжимались. Но все обошлось благополучно. Залаяла Шутка, Радостин испугался и убежал, и Ангелина проснулась.

Засыпать уже не хотелось. Тянуло к Василию. Хотелось оправдаться, хотя она и не чувствовала себя виноватой за случившееся во сне.

Серафима Григорьевна, как всегда, поднялась раньше всех. На уличной плите под навесом готовился завтрак плотникам. Варилась картофельная похлебка со свиным салом и яичница-глазунья с зеленым луком и тем же прошлогодним салом. Оно уже начало желтеть и горкнуть. Его следовало скормить, как и картофель, которого оказалось больше, чем нужно до нового урожая.

В это утро все встали раньше обычного. Ангелина не отходила от мужа.

— Васенька, хоть на минуточку забеги ко мне в сараюшку. Совсем я не вижу тебя... Истосковалась по тебе...

И Василий пришел в сараюшку, где жили свиньи. Ангелина долго стояла, прижавшись к груди Василия. Большая белая матка, кормя поросят, пристально смотрела на Ангелину и Василия, мигая длинными, с загнутыми кверху кончиками, белесыми ресницами.

Ангелина молча каялась Василию и казнила себя за увиденного во сне Яшу Радостина.

Плотники тем временем хвалили похлебку, считая, что прогорклое, желтое сало для готовки — самый вкус. Аркадий Михайлович ел

вместе с ними, из общего котла, хотя ему и моргала Серафима Григорьевна, на этот раз правым глазом, давая знать, что его она будет кормить особо.

Запертый человек был для нее Баранов. Между тем запертого в нем не было ничего. Он давал понять, что, если плотников наняли с «хозяйскими харчами», значит, харчи должны быть хозяйскими, а не какими-то особыми харчами для плотников. Таков порядок учтивости.

Это понял и Василий, вернувшийся со свидания из свинарника, садясь за общий стол. Серафиме Григорьевне ничего не оставалось, как подать в виде добавки изжаренное мелкими кусочками с луком и картофелем мясо. Подать и сказать:

— Это вам наверхосытку, плотнички-работнички.

— Ну что за золотая хозяйюшка попалась нам! — нахваливал Серафиму Григорьевну старший из плотников.

Это очень понравилось ей, и она переглянулась с Барановым. Его глаза были по-прежнему веселы и насмешливы.

И то хорошо. Лишь бы они не оказались злыми.

Вскоре зазвенели топоры. Зашелестела щепка. Обтесывались новые балки...

## XXV

Дом Василия Петровича стоял в глубине участка. Метрах в пятнадцати от ворот. Поэтому в шуме стройки никто, кроме чуткой собачки Шутки, не услышал, как хлопнула калитка и как вошел рыжеватый, коренастый, невысокого роста человек лет сорока пяти, в холщовом пыльнике, с кнутом в руке.

Он остановился у ворот и стал кого-то искать глазами среди работающих.

— Наверно, к тебе? — указал Василию на вошедшего Баранов, и они направились к воротам вместе.

— Мне бы Василия Петровича. Это вы? — обратился вошедший к Баранову.

— Нет, это я. Здравствуйте! — Василий подал руку.

— Очень приятно. Здравствуйте. Моя фамилия Сметанин Иван Сергеевич. Я новый председатель «Красных зорь». Знаете, наверно, — в пяти верстах от вас...

— Знаю.

— Я вас тоже знаю, Василий Петрович, по газетам, хотя и работал с вами на Большом металлургическом... А видывать вас не видывал. Потому что вы в цехе, а я — на подсобном хозяйстве. Может быть, тоже слышали... Грамотой меня награждали, а теперь меня вернули в колхоз. Я уже десятый день в председателях хожу. Можете проверить...

— Нет, что вы! Зачем же мне проверять?

Василий не мог понять, для чего это все ему знать и что нужно от него Сметанину. Но коли тот пришел, значит, есть дело. Поэтому Василий предложил:

— Садитесь и рассказывайте...

Сметанин, Василий и Баранов уселись на скамеечку в тени, около ворот.

— Даже не знаю, как начать, чтобы политичнее и короче, — заговорил Сметанин, разглаживая усы и разглядывая Баранова. — Вы друг или сродственник?

— Друг, — ответил Баранов.

— Тогда лады. В партии состоите?

— Состою, — чуть улыбаясь, снова ответил Баранов.

— Тогда давайте в открытую, без подходов и без обид. Хотя обиды и могут быть, но мы их, можно сказать, превозмогём.

Такой подход «без подходов» заинтересовал Баранова и обеспокоил Василия.

— Что случилось? Выкладывайте, товарищ Сметанин, — попросил он.

— Это уж обязательно, только дайте все-таки объяснить, что и к чему, для разбега и для ясности. А когда ясность будет, мы порешим все миром и без огласки. Курить разрешается?

— Само собой... Мы же на улице.

Сметанин стал свертывать сигарку.

— Не из бедности, не подумайте. Привык курить самокрутные. А дело было так... Наш бывший председатель, Семен Явлев, сначала охаял меня якобы за клевету, а потом выжил из колхоза как бригадира по скоту начисто. А теперь, перед Пленумом, все увидели, что с моей стороны все это была правильная борьба против очковтирательства. Вызвали куда надо и рекомендовали председателем... А Явлева — наоборот. И было за что.

— Что случилось? Выкладывайте, товарищ Сметанин, — попросил он.

— Это уж обязательно, только дайте все-таки объяснить, что и к чему, для разбега и для ясности. А когда ясность будет, мы порешим все миром и без огласки. Курить разрешается?

— Само собой... Мы же на улице.

Сметанин стал свертывать сигарку.

— Не из бедности, не подумайте. Привык курить самокрутные. А дело было так... Наш бывший председатель, Семен Явлев, сначала охаял меня якобы за клевету, а потом выжил из колхоза как бригадира по скоту начисто. А теперь, перед Пленумом, все увидели, что с моей стороны все это была правильная борьба против очковтирательства. Вызвали куда надо и рекомендовали председателем... А Явлева — наоборот. И было за что.

— За что же его «наоборот»? — поинтересовался Баранов.

— За обманные, главным образом, обязательства и надувательства. Обязательства год от году все выше и выше, а выполнение было год от году наоборот. Совсем до ручки колхоз довел. Но не буду задерживаться на этом. Партия о таких свое слово скажет, и думаю, что мое письмо тоже даром не пройдет.

— Вы писали в ЦК? — спросил Баранов, которому Сметанин явно нравился и своим открытым взглядом, и прямоотой суждений.

— А как же? У меня, слава тебе, можно сказать, семиклассная грамота. С запятыми только нелады. Так дочь же есть. Все изложил. И получил персональный ответ... Только я не за этим к вам, а насчет вашей белой свиньи.

— Свины? — переспросил Василий Петрович. — Тогда вам лучше разговаривать с Серафимой Григорьевной. Я ее сейчас позову...

Сметанин удержал Василия за руку:

— Не надо. С нею у нас мирных переговоров не получится. Все может кончиться прокурором и следователем, а у меня покос и строительство. Некогда.

— Что же вы хотите от меня? — спросил, недоумеая, Василий Петрович.

— Свины, Василий Петрович. Белую свиноматку двух лет и трех месяцев. За наличный расчет.

— А как же, понимаете, так? — растерялся Василий. — Во-первых, я не торгую свиньями, а во-вторых, понимаете, если бы и торговал, так зачем я должен...

— По закону, Василий Петрович. По принадлежности. Свинья наша, колхозная, — сказал Сметанин, опустив глаза, похлопывая кнутовищем по голенищу сапога. — И ее надо возвернуть...

Василий Петрович пожал плечами, посмотрел на Баранова, не зная, как дальше вести себя.

— Товарищ Сметанин... Я отлично помню, что эта свинья куплена Серафимой Григорьевной небольшим поросенком...

— Именно, — подтвердил Сметанин, — поросенком. Но как? По какому праву и у кого? Вот в чем вопрос, Василий Петрович... А куплена была эта валютная и призовая свинка у нашего подлеца председателя. И не она одна, а три и один боровок этого же призового, валютного племени. А получили мы их по централизованному распределению и для завода белого стада.

— Я ни у кого ничего не покупал не по закону...

— Я знаю. Но голова-то всему тут вы. Вы и в ответе за всех ваших, можно сказать, свиней... Но я не хочу на вас тень наводить! А наоборот. Я веду мирные переговоры. Этой матке нет цены. И отступить от нее я не могу. Уже если меня на председательское место посадили, так не для одного на нем сидения, а для наवरстывания упущенного. Таких свиней в нашей округе три да один боров. Двух я уже доставил обратно. Тоже сначала их незаконные хозяева то да сё... Особенно лесник, который свою



свинку персонально выменял у нашего бывшего председателя на беспородного белого поросенка с большой придачей. И я ему объяснил, чем это все может кончиться. И он понял. А вам мне что объяснять? Вы сами понимаете, что отчуждение свиньи из социалистической собственности в частную собственность в районной газете может выглядеть, как не таё... А зачем вам нервничать, когда у вас и без того гнили достаточно? — Сметанин указал кнутом на груды досок, пораженных грибком.

Слушать Сметанина далее было для Василия оскорбительно. Тем более, что он действительно не имел никакого касательства к покупке белого поросенка. Поэтому была приглашена Серафима Григорьевна.

— Это новый председатель колхоза «Красные зори», — сказал Василий. Он требует белую свинью, как незаконно купленную вами...

— Это еще что?.. Как же так незаконно, когда у меня свидетели? Когда я за нее, вот такухонькую, тысячу двести отдала? — стала защищаться Серафима Григорьевна, взвизгивая, притопывая и сверкая левым глазом, который выглядел теперь совсем стеклянным, искусственным.

Баранов понял по этому крику, что председателю колхоза нетрудно будет уличить Серафиму Григорьевну, и вмешался:

— Серафима Григорьевна, никто же не говорит, что вы купили краденого поросенка непосредственно в колхозе... Он мог попасть к вам через третьи руки...

— А я о чем говорю? — обрадовался председатель. — Кто и что может сказать про вас, про такую самостоятельную женщину?.. Вам и в голову не могло прийти, что она, это самое... А поскольку это так, получите причитающееся.

Хотя выход был найден, и вполне благопристойный, но Серафима Григорьевна упиралась:

— Так вы с того и спрашивайте, кто ее незаконно продал...

Но Сметанин сказал:

— Не советую вам, от души не советую виноватых искать. Дело прошлое, запутанное... Сколько вам за нее?

— Я уж сказала, что за нее тысячу двести отдала, когда она была поросеночком...

— Девятьсот пятьдесят, — поправил Сметанин, — вы забыли. Ну, будем считать — тысячу, а остальное доплачиваю по живому весу, по рыночной цене... Техник! — крикнул он за ограду. — Заезжай в ворота!

Серафима Григорьевна опешила:

— Это как же? Сразу и заберете ее?

Сметанин любезно принялся убеждать:

— А зачем вам на завтра откладывать? И мне будет думаться, и вам, можно сказать, икаться. Не ровен час захворает свинка — нарекания возникнут. А свинка валютная. Четыре приза у ее матери. Через два года она мне треть стада белых свиней даст... Прошу вас... Давай, Тихон Иванович, подъезжай к свиначнику, — обратился он к молодому человеку. — Это наш зоотехник. Знакомьтесь.

Зоотехник провел под уздцы лошадь, запряженную в телегу, на которой стояла большая клетка. Видно было, что Сметанин действовал наверняка.

— Что же это делается, Василий Петрович? — не столько спрашивала, сколько оправдывалась Серафима Григорьевна.

— Это уж мне надо вас спрашивать...

Василий еле-еле сдерживал себя. И он тоже не сомневался, что Сметанин знает гораздо больше, чем сказал, щадя его, известного сталеваара.

Белую свинью зоотехник легко загнал в клетку, а клетку с помощью плотников поставили осторожно на телегу.

— В смысле расчета не беспокойтесь, — заверил Василия председатель, до грамма взвесим и до копейки высчитаем. А за быстроту решения вопроса от имени «Красных зорь» благодарю...

— В смысле расчета не беспокойтесь, — заверил Василия председатель, до грамма взвесим и до копейки высчитаем. А за быстроту решения вопроса от имени «Красных зорь» благодарю...

Прощаясь с Аркадием Михайловичем, Сметанин сказал:

— А что сделаешь? И у нас в колхозе, можно сказать, единоличный сектор есть. Другие тоже через свою грядку на колхозное поле глядят... Ничего, ничего, — похлопал он Баранова по плечу, — минует и это...

Вежливый Сметанин сам закрыл ворота и, салютуя кнутом, крикнул:

— Общий привет, товарищи!

Закрылись ворота. Хлопнула калитка за веселым и хитроватым Сметаниным, а он между тем не ушел. Он остался рядом с Василием, насмешливым Барановым. Лицо, глаза, нос и все прочее — другое, а суть та же.

— Вот тебе и ответ на твой вопрос, Вася. Выходит, одна и та же свинья может подрывать социализм и может укреплять его. Или я ошибаюсь? — спросил Аркадий.

Василий ничего не ответил на это. Да и что мог ответить он? Защищать тещу? Это невозможно. Как обелить? А сознаваться не хотелось. Ой, как не хотелось! Далеко это пойдет. Так далеко, что и заблудишься во всех эти недоговоренностях, примиренностях и в сторублевых клочках, найденных при вскрытии пола.

Иногда лучше кое на что закрыть глаза, чем открыть их. Откроешь — и не ровен час увидишь то, с чем нельзя уже будет смириться, а не смирившись, придется ломать все, что создавалось с таким упорным трудом и с такими радужными надеждами.

Не пойти ли да не покормить ли хлебными объедками карпов? Веселое это и, главное, отвлекающее занятие...

XXVI

Казалось, что через день-два забудется визит председателя «Красных зорь», но этого не случилось. Вбитый им клин между Василием и его тещей продолжал увеличивать трещину в их отношениях.

Баранов ничем не напоминал о случившемся. Он, видимо, считал, что Василий должен сам разобраться во всем этом и сделать выводы.

Выводы Василия сводились к тому, что через неделю или две он поговорит с тещей при Ангелине, внушит ей то, что надо, и у них снова установятся нормальные отношения.

Тещу надо щадить ради Лины, Лина не может отвечать за Серафиму Григорьевну. В любви Василия к Лине должно быть найдено снисхождение к ее матери. Но пусть пройдет время. Пусть теща попереживает, помучается из-за свиньи. Может быть, она и в самом деле купила ее через третьих лиц, ничего не зная. Хочется думать, а может быть, и следует думать, что это так...

Новые балки уже на месте. Стелется новый черный пол из толстых сухих пластин, плотно пригнанных в закрой стыков и хорошо обработанных «адской» антисептической смесью. Скажем, что наш милейший Аркадий Михайлович Баранов показал себя недюжинным плотником. Он смело и точно выбирал топором в балках губку, не отставая в работе от нанятых мастеров.

— Ну так ведь саперы — они все могут! — одобрил работу Баранова старший из плотников.

Аркадий Михайлович, честно отработывая свои харчи и койку, которая все еще пока находилась под сосной, трудился до полудня, а потом уезжал в город, не объясняя зачем.

— Я же работать здесь собираюсь, — отвечал он Василию. — Нужно позаботиться и о квартире, и о переезде семьи. Познакомиться с людьми. С городом, наконец. Отпуск отпуском, а дело делом.

А сегодня, в субботу, Баранов не поехал в город. Он встретился с человеком, которого, оказывается, он знал по фронту. Этот человек был тогда подполковником ветеринарной службы, а теперь он в отставке. На пенсии. У него свой дом. И свои полгектара.

Речь, как вы догадываетесь, идет о Павле Павловиче Ветошкине. Он пришел к Серафиме Григорьевне относительно кормов. Ей хотя и не удалось осчастливить замужеством Ветошкина, за что она про себя желала ему «и язву, и рак, и затяжную смерть», но все же состояла с ним в деловых отношениях, приносивших ей немалые прибыли.

Пронырливый доставала Кузька Ключ приобщи́л Серафиму Григорьевну к тому миру, который жил возникающими затруднениями в торговле, а чаще искусственно создавал эти затруднения.

Аркадий Михайлович сразу узнал пришедшего. Ветошкин почти не изменился за эти годы. Та же бритая седина. Те же мешки под глазами, и такой же буро-малиновый нос. Правда, Ветошкин чуть располнел и даже порозовел.

— Прошу извинить, но, мне кажется, ваша фамилия Ветошкин?

— Ветошкин, — ответил тот.

— В таком случае мы с вами встречались под Барановичами, когда вы приезжали к нам... Помните сержанта, который вас вывел после легкого ранения в руку из леса, где мы отсиживались?

Ветошкин пристально посмотрел на Баранова.

— Это вы?

— Это я. Моя фамилия Баранов, а зовут меня Аркадий Михайлович. Тогда у меня не было возможности, а равно и оснований представиться вам подобным образом.

Ветошкин обнял Баранова и сказал:

— А я все равно помню ваше лицо, ваши глаза и даже голос. Теперь я получаю счастливую возможность хоть как-то отблагодарить вас. Прошу ко мне. Я живу в трех шагах. У меня превосходное хозяйство и соответствующий резерв «пороховых», так сказать, запасов в погребах. Хо-хо-хо!

Баранов не отказался, и вскоре вместе с Павлом Павловичем они очутились в окружении цветов и благоухания.

Клумбы — ромбами, овалами, кругами... Дорожки, посыпанные золотистым речным песком, мелким щебнем. Маленький журчащий фонтан. Огромный дог. Гамаки. Качалки. Садовые зонты. Стриженные кустарники, маленькая оранжерея, наконец, дом в стиле пряничного теремка, с петушками на коньках остrokонечных крыш и росписью по ставням и ветровым доскам. Крылечко с белыми лебедями, выпиленными из толстых сплоченных досок. Коврик перед входом с надписью: «Прошу пожаловать».

— Прошу пожаловать, — повторил Павел Павлович сказанное ковриком. Это мои скромные апартаменты, а это моя дражайшая Алина Генриховна.

Алина Генриховна протянула смуглую тонкую руку.

— Баранов, — отрекомендовался Аркадий Михайлович и почему-то смутился, увидев жгучую, черноволосую красавицу, стоявшую рядом с розовощеким и седым Павлом Павловичем.

Алине Генриховне никак нельзя было дать больше двадцати шести двадцати семи лет. Ее темные большие глаза были грустны. И весь ее облик напоминал индианку-танцовщицу, недавно виденную Барановым не то в журнале, не то на экране телевизора. Вызывала она и другие сравнения. Пришла на ум лермонтовская Бэла. Может быть, причиной этому была молчаливость Алины.

Разговаривал пока только Ветошкин.

— Вас, Аркадий Михайлович, попугай судьбы вынул из урны случайностей не только приятным подарком для меня, но и для Алины Генриховны. Она так одинока в этом Садовом городке!..

Молодая женщина украдкой рассматривала Баранова.

Аркадий Михайлович — человек среднего роста. Подвижен, но не тороплив. Широкоплеч, но не коренаст. Чуть смугловат. Чуть седоват с висков. Но эта ранняя седина так украшала его волнистые, склонные к кудрявости и, видимо, сдерживаемые в этой склонности гребенкой густые темно-каштановые волосы, обрамляющие продолговатое лицо. Лицо с прямым носом, гладкой кожей и единственной глубокой складкой меж густых бровей.

О глазах Баранова говорилось несколько раз на этих страницах. Они привлекали внимание каждого. Алина Генриховна, попав в их карие лучи, почувствовала себя в том освещении, в каком она давно уже не бывала.

Тут нужно предупредить заранее читающего эти строки, чтобы он не делал пока никаких предположений и тем более не строил боковых сюжетных конструкций.

Однако скажем, что ничто живое не было чуждо Аркадию Михайловичу. Но не будем отвлекаться на привходящие абзацы...

## XXVII

Павел Павлович и его молчаливая жена провели Баранова по комнатам, обставленным с большим вкусом то старинной, тяжелой, то легкой и элегантной мебелью.

Повторяясь, скажем, что огромные глаза Алины были грустны. Строгий, как у «Неизвестной» на картине Крамского, нос украшал ее лицо в сочетании с тонкими собольими бровками. Именно собольими. Нельзя же ради хвастовства мнимым словарным богатством искать иное, идентичное, но худшее слово. Мелкие синевато-белые зубки и вишневые губы, не знающие губной помады, были ярки.

Алина Генриховна куда выше низкорослого Павла Павловича. Наверно, этому помогали очень высокие и очень тонкие, немногим толще карандаша каблучки.

Была показана ванная, а затем и кухня, сверкающая белизной кафельных плиток и кружевного фартука девушки, поджаривающей ароматные деволяи.

Наконец Баранова провели в гостиную, где было предложено сесть.

Павел Павлович добыл из буфета коньяки, настойки и виски, расставил рюмки различных калибров и форм, по пути включив магнитофон под названием «Мелодия». Он продекламировал под музыку:

— Вальс! Вальс! Вальс!

Это прозвучало как приглашение потанцевать с Алиной.

— Приглашайте же, приглашайте Алину Генриховну, а я займусь хозяйством. Это мне нравится куда больше... Хо-хо-хо!

Павел Павлович скрылся. Они остались вдвоем.

Баранов не ожидал такого поворота. Танцы никак не ожидались им. Пусть он не чуждается их, но всему свое место и своя «музыка». Однако же...

Однако же коли ты решил побыть в роли «груздя», то и «лезь в кузов». И Аркадий Михайлович неожиданно для себя и наперекор себе спросил:

— Вы, конечно, танцуете, Алина Генриховна?

— Еще бы...

— Если вам хочется...

— Я с удовольствием, Аркадий Михайлович. — Она подошла к нему и подняла глаза. В них читалось теперь что-то похожее на признательность.

И они закружились.

Алина Генриховна танцевала, едва касаясь пола. Порхая, она будто заранее знала, куда поведет ее Аркадий Михайлович, предупреждая каждое его движение.

Может быть, она профессиональная танцовщица? Но не спрашивать же ее об этом! Все же Баранов заметил:

— Вы поразительно танцуете, Алина Генриховна!

— Благодарю вас, — не жеманясь сказала она. — Я очень люблю танцевать. Но не с кем, — пожаловалась она так же просто, ни на что не намекая. — У Павла Павловича отдышка и живот. А наша Фенечка плохо водит и очень занята...

— Но ведь город же рядом, — попытался подсказать Баранов.

— Да, конечно... Но я с зимы не была там. — Она снова подняла на Баранова глаза и сказала: — Вы, кажется, на самом деле добрый человек...

— Помилуйте, как можно судить по первой встрече!

— Я наблюдаю за вами давно. А кроме того, я очень люблю Лидочку Кирееву и бесконечно верю ей.

Так они, разговаривая, танцевали минут пять. Вальс сменился медлительным танго и наконец... деволями.

## XXVIII

— Боевого товарища прошу к столу. Фенечка, разлейте нам коньяк!  
— попросил Павел Павлович кружевную девушку, соперничающую красотой блондинки с темноволосой Алиной Генриховной.

И когда сели за стол, Павел Павлович принялся рассказывать Алине Генриховне о встрече с Аркадием Михайловичем, балансируя на грани преувеличений и лжи.

Баранов всячески смягчал перехлёсты Ветошкина. Алина Генриховна с присущей ей непосредственностью заметила на это:



— Преуменьшать так же дурно, как и преувеличивать. Я знаю, Аркадий Михайлович, — мне Лидочка говорила, — вы герой. И не стоит этого стесняться. И если бы вы и Василий Петрович Киреев были менее скромны, то ваше геройство было бы отмечено высокими наградами. Но это между прочим...

Баранов слушал не слова, а голос. Мягкий. Неторопливый. Искренний. Слушая Алину и наблюдая за ней, он убеждался, что перед ним человек, во-первых, прямой и правдивый и, во-вторых, несчастный. Об этом он разузнает у Лиды. У Василия. У Серафимы Григорьевны, наконец... Сейчас его интересовало другое.

Любознательного Баранова интересовало благополучие этого дома. Вернее — источник благополучия. Откуда взялось и на чем держится все это? Ковры, мебель, сервировка стола, антикварное изобилие ненужных, но дорогих вещей, роскошество сада, гараж на две машины и все остальное, на что никак не могло хватить ветошкинской пенсии.

Может быть, Ветошкин, как и Серафима Григорьевна, стрижет прибыли с цветов, ягодников или свиней? Но сад у него не промышленный. Скотом даже не пахнет, как и птицей. Канарейки, заливающиеся в мансарде, тоже не могут давать дохода. Так что же?

Распознавание Павла Павловича не составило особенного труда. Он не прятал себя, как Серафима Григорьевна.

— Нет, батенька мой, не медицинское дело заниматься цветочками на продажу, разводить этих самых, из которых получаются окорока, корейка и копченая колбаса, — ответил Павел Павлович на вопрос Баранова о дороговизне содержания такой дачи.

— Так что же, Павел Павлович, позволяет вам утопать в таком великолепии? — польстил Баранов хозяину, обводя широким жестом стены столовой, увешанные хорошими картинами.

— Хо-хо-хо! — закатился Ветошкин смехом. — Сто лет угадывайте — не угадаете! В интересах вашего аппетита я не могу раскрыть секрета моих доходов во время еды. А после завтрака не только расскажу, но и покажу...

Ветошкин сдержал свое слово. Взяв под руку Баранова, он повел его в глубь сада. Там, в зелени сирени и жасмина, находилось

довольно большое каменное здание с высоко расположенными окнами, какие бывают в скотных дворах.

Ветошкин открыл дверь, обитую клеенкой, затем вторую. Пахнуло резким и кислым. Они вошли внутрь.

Вдоль стен и посередине помещения, как книжные составные полки, в шесть рядов стояли клетки, а в клетках суетились белые крысы и крысенята.

— Как это понять, Павел Павлович?! — опешив и, кажется, испугавшись, спросил Баранов.

Ветошкин, злоупотребивший до этого коньяком, развязно заявил:

— Вы лучше, голуба, спросите, как и во что следует оценить это научное звероводство.

— Вы ведете исследовательскую работу?

— Бог с вами! Я всего лишь способствую ей. Я поставляю моих белых питомцев научно-исследовательским и лечебным учреждениям.

— Каким образом?

— Самым простым. Приезжают. Отсчитывают. Забирают. Расписываются. Увозят. Затем без хлопот переводят причитающееся на сберегательную книжку. И все.

Баранов едва ли не лишился дара речи. А вопросов нахлынуло так много, и который из них уместнее задать, он не знал. Постояв минуту-другую, он наконец спросил:

— А почему же лечебные и научные учреждения сами не разводят подопытных животных?

— Нерентабельно. Не укладываются в ассигнования. А я не только укладываюсь, но, как видите, кое-что приобретаю. Хо-хо-хо!.. Конечно, это все кое-что стоит и мне. Корм... Феня. Феня кроме обычного жалованья получает еще два. И проценты за перевыполнение запланированного поголовья... Она великолепно владеет тонкостями ухода за матками и приплодом. Она же бывшая свинарка колхоза «Красные зори». У меня есть и свинки. Только морские... Вот. Пожалуйста, полюбуйте, какие красавицы...

Вспомнив название колхоза, Баранов вспомнил и недавний приход Сметанина.

— А почему Фенечка оставила колхоз?

— Она же доктор! Академик! Как Фенечка могла гибнуть в колхозном свинарнике и получать какие-то... Конечно, — спохватился Ветошкин, — у нас есть отличные сельскохозяйственные артели, но в данном случае я ее спас. Вы видите, какие я ей создал здесь условия!

— Вижу!

— Блеск! Для медицинских целей нужна не просто крыса, а своего рода стерильная крыса. Абсолютно чистая кровь. Чистый волосяной покров. Еженедельно бывает эпидемиолог. Он у меня получает второе жалованье. Зато никаких признаков болезней за все эти годы. Он определяет состояние здоровья по глазам крысы безошибочно. «Эта больна», — и сейчас же в карантинник... Вот это моя лечебница...

Ветошкин указал на загородку, где стояло до пятнадцати клеток, застекленный шкаф с медикаментами, шприцами, маленькими термометрами, чем-то еще, чего не стал рассматривать Баранов. Ему хотелось как можно скорее покинуть эти стены, заставленные клетками с кишасцами в них крысами. Но влюбленный в свое предприятие Ветошкин сообщал все новые подробности о повышении рождаемости, о температуре питомника, об особом рационе для маток, уходе за ними в период помета. Затем — вычисления. Прогрессия прироста. Роль жиров. Известняка. Яиц. Полезность кварцевого облучения. Значение гексахлорана в борьбе с блохами...

Баранов вышел из крысятника шатаясь. Серафима Григорьевна показала рядом с Ветошкиным светлым ангелом.

— А налог вы платите? — спросил он, чтобы что-то спросить, а потом закруглиться и уйти.

— Какой налог? Что вы! За крыс — налог? Хо-хо-хо! Такого нет и не может быть...

«А не помешало бы», — подумал Баранов и начал прощаться.

Алина Генриховна ждала их на площадке перед домом. Не сказав ни слова, она сказала очень много, взглянув на Баранова. Он видел, как ей было стыдно за Ветошкина и за себя. А может быть, только за себя...

Павел Павлович, кажется, порозовел еще более. Может быть, этому помогал зеленый фон растений. Но что бы ни помогало — фон, коньяк или солнце, — Баранова не оставляло назойливое слово: «Упырь».

— Мне очень жаль, — слышался голос Алины, — Павел Павлович напугал вас своим питомником.

Она протянула руку и улыбнулась Баранову.

Как много иногда заключается в улыбке! В ней она просила прощения. В ней она роняла надежду на встречу. В ней она повторяла уже сказанное: «Вы добрый человек».

Аркадий Михайлович, пообещав заглянуть к ним, пригласил Ветошкиных ответить ему визитом на дачу Киреевых и поспешно удалился.

На пути перед его глазами выросли стены с клетками и белые крысы, а в голове назойливо звучало: «Белые крысы, черный барон...»

Над городком просвистел самолет. Потом слышался дальний гул поезда. На горизонте, за лесом, дымили трубы. Где-то пела круглая электрическая пила. Сигналили автомашины.

Это была другая жизнь. Жизнь, из которой пришел он и очутился в этой яме. И люди, живущие там, едва ли сумели бы поверить ему, если бы он стал рассказывать им обо всем увиденном. Да и сам он теперь готов усомниться: явь ли это все? А если явь, то как она могла возникнуть и смердеть под этим голубым и огромным небом, куда опять улетел новый чудесный космический посланец его страны?

Что породило эту проказу, этот духовный распад Ветошкина, любящегося своим цинизмом?..

Надо же было так сложиться дню! Надо же было встретиться с этим пресыщенным негодяем!

Домой Аркадий Михайлович не пошел. Хотелось прийти в себя.

## XXIX

После встречи с Ветошкиным Аркадий Михайлович несколько раз обошел Садовый городок, размышляя о нем и его населении.

Садовый городок состоял главным образом из небольших разномастных домишек, теснящихся на окаймленной лесом гектаров в пятнадцать — двадцать поляне, когда-то числившейся в заводских покосных землях.

Справа и слева от городка проходят железнодорожные магистрали. Свидетельство этого — неумолкаемый шум поездов, сирен электро- и мотовозов, гудки все еще пока здравствующих паровозов. Стоило пройти километр вправо или полтора километра влево, чтобы убедиться, как напряжены эти железнодорожные артерии страны. Грузы — лес, цемент, нефть, известняки, кирпич, огнеупоры, прокат, машины. «Белые» поезда, везущие мясные, молочные продукты. «Черные» — угольные поезда. «Коричневые» — рудные... Сборные. Специальные. Пассажирские. Неперечислимое множество длинных грохочущих составов, стремительно проносящихся в далекие и ближние города, свидетельствовало о ритме жизни огромной страны. Страны спешащей и успевающей. Страны строящейся и создающей. Великой индустриальной державы.

Здесь сотни младших сестер знаменитой Эйфелевой башни несут на своих стальных плечах тяжелые высоковольтные провода. Это электрическая магистраль. Тут ее дельта. Она ветвится многими линиями, передающими электрическую силу рудникам и заводам, образующим огромное промышленное кольцо вокруг большого города.

Рядом, в двухстах метрах от Садового городка, роют траншеи, сваривают трубы, в которых, почти не сгибаясь, бегают дети. Это магистраль газопровода, который, вступив в строй, будет событием этого года. Огромнейшим событием.

И тут же проходит новый нефтепровод. Тоже магистраль.

Все это пространство, вся эта лента шириною в два или более километров, вправе называться одной из магистральных дорог, соединяющих Сибирь и европейскую часть Советского Союза. Над этой великой трассой, как бы венчая ее, пролегла дорога воздушных кораблей, и близится к завершению еще одна

невидимая дорога — дорога взаимного обмена городов телепередачами.

И надо же было именно здесь, в промежутке магистральных путей, появиться Садовому городку.

Ничто, даже грибы, не возникает без причин. Всякий, желающий рассмотреть пристальнее этот городок, увидит в нем некоторую закономерность издержек времени.

Рост населения больших промышленных городов Урала долгие годы опережал размеры и темпы жилищного строительства. Новые дома возводились начиная с первой пятилетки. Возникали рабочие поселки и города. Но настоящее, большое строительство, проводимое новейшими индустриальными способами, стало особенно ощутимо за предшествующие три года и в первые два года пятилетки.

После XXI съезда КПСС для многих граждан получение новой квартиры из предположительной возможности стало реальной, а иногда и «календарно определенной». Особенно точным в этом отношении было руководство Большого металлургического завода. Заводская жилищная планировка и распределение квартир на ближайшие два года были сверстаны с точностью до квартала. Если ожидающий знает, сколько ему осталось ждать, он чувствует себя куда спокойнее, нежели тот, кому обещают «твердо» без «твердого» срока ожидания...

Некоторые в ожидании счастливого новоселья построили себе под видом садовых домиков временные жилища. Построили, не забывая об их внешности, благоустройстве, зная, что одни через год, другие через два года получают запланированную им квартиру.

Это одна категория застройщиков, называющихся в просторечии Садового городка «временные». Другая категория — это «любители». К ним относились садоводы, огородники, цветочники и просто желающие провести летний вечер, воскресный день на свежем воздухе.

Для этой категории садовые домики были улучшенным продолжением лесных и покосных балаганов.

Балаганы в старые годы ставились уральскими рабочими на покосах в страдную пору и в лесу в грибную пору. В этих балаганах,

сооруженных из елового лапника, из домотканых половиков, рабочие живали семьями. Это был своеобразный летний отдых, совмещенный с заготовкой сена, дров, со сбором и солкой грибов. А теперь более капитальным потомком балаганов явился утепленный садовый домик — своеобразная дача. И в этом Баранов не видел ничего зазорного, как и в садах, уход за которыми приносил столько радостей садоводу, исключая и тень корысти.

Конечно, старая ведьма, не выходявшая эти дни из головы Аркадия Михайловича, караулила под каждым кустом бескорыстных садоводов, и кое-кто из них клевал на ее поживку, как это произошло с Василием. Но есть и Бажутины...

Дом Бажутиных куда больше дома Киреевых. Те же яблони, вишни, ягодники, цветы. То же хозяйство. То же, да не то. Не то, начиная с широко распахнутой калитки, будто приглашающей вас. Здесь всегда шумно. Днем детвора, вечером — молодежь. Здесь бывает и Лидочка. Здесь, а не у отца на даче Лидочка встречается со своими сверстниками. Сюда приезжает на велосипеде и Миша Копейкин.

Этот гостеприимный дом будто и не принадлежит Бажутиным. Да и Бажутины не знают теперь, кому он принадлежит. Начиная строить его дед, продолжил отец, а сыновья и зятья в свою очередь прирубали прирубы, надстраивали второй этаж. И что теперь чье, кажется, никому нет дела.

Таким, как мы помним и как знает Аркадий Михайлович, хотел видеть свой дом и Василий Петрович. И если бы это так произошло, то не о чем было бы и говорить. Кто что может сказать о рыбаке или грибнике, для которых ужение или сбор грибов — радостный отдых? Но мы тотчас обращаем внимание и на рыбака и на грибника, гонящегося за наживой. Даже цвет черемухи, лесные ландыши, еловые ветви с нарядными шишками становятся иногда жалким товаром в руках стяжателя. И это правда.

Аркадий Михайлович вспомнил, как в Крыму, в Ялте, маленькая, хорошо одетая девочка торговала на берегу ключевой водой. Пятачок за стакан. Она приносила воду в большом чайнике. Торговля шла ходко. И девочка радовалась пятакам.

Кто подсказал этой девочке торговлю водой? Кто ее отравил стремлением собрать как можно больше пятаков? Может быть, некая тетка вроде Панфиловны? А может быть, и родная мать? Как

скажется все это на девочке, как отзовется эта торговля на ней, когда она вырастет?

Серафима Григорьевна тоже была когда-то девочкой. И, наверно, приятной, как все дети. А потом отец, его мечта о золотой жиле, рассказы о кладах и вся атмосфера семьи, желающей разбогатеть, отравили душу маленькой Серафимы. И она стала жить отцовской желтой мечтой стяжательницы.

Мы знаем, что госпожа частная собственность чаще всего ставит свои капканы на землях личного пользования, будь то садово-дачные или колхозные приусадебные участки. Однако же не они, а человеческая душа, внутренний мир человека, — единственное и главное место, где старая ведьма может сплести свою губительную паутину.

Не кажется ли вам, что можно быть собственником, не имея ничего? Ничего, кроме желания владеть, стяжать, наживать, обогащаться.

У великого русского писателя Чехова в свое время было имение в Мелихове, а потом дом в Ялте, между тем Антон Павлович никогда не был собственником.

У бездомной ханжи Панфиловны нет даже собственной кровати. Панфиловна снимает углы. Между тем ее темная, густо затканная собственническими тенетами душа ничем не отличается от души владетельного банкира, ворочающего миллиардами.

Так думал Аркадий Михайлович. Может быть, так же думаете и вы...

XXX

Утром Аркадий Михайлович решил пойти побродить по городу. Здесь ему жить и работать не один год. Надо знакомиться.

Город густо дымил на окраинах. Дымил металлургическими, химическими, цементными заводами. Машиностроительные заводы, заводы приборостроения, мебельные фабрики и фабрики одежды обходились без дыма. Там царствовало главным образом электричество.

Прекрасен этот город. Таких не больше пяти или шести на Урале, если сюда же включить столицу Башкирии Уфу. Здесь в эти дни все дышит вторым годом пятилетки. И витрины магазинов, и большие



фанерные щиты, сообщающие о достигнутом заводами и о том, чего еще нужно достичь. Доски показателей и доски Почета — привычные спутники советских городов. Есть они и здесь.

Вот доска Почета Большого металлургического завода. На ней все еще красуется фамилия Василия Петровича, хотя ему давно уже нет места на этой доске. Инерция — великая сила. Человек сошел с гребня волны трудовых успехов, а фамилия его звучит. Звучит по привычке. Кто возьмется зачеркнуть его имя?

Баранов ходил по городу час, два, три, четыре... Он знакомился с каждой улицей, заходил в магазины, встречался с незнакомыми, но такими близкими ему людьми. Кажется, впечатлений было достаточно для того, чтобы выйти из лабиринта мыслей, суждений, внутренних споров, навеянных Садовым городком. Ему хотелось как можно справедливее и определеннее понять, а затем оценить увиденное за эти дни.

Что бы и кто бы ни говорил, но для таких людей, как Серафима Григорьевна и Ветошкин, оказывается, еще находятся в нашем обществе лазейки, которые позволяют им вступить в капиталистические отношения. Да, их отношения, с какой мягкой меркой ни подходи, капиталистические.

У одной — хищническая эксплуатация земельных угодий и скота, у другого — капиталистическая ферма в чистом виде, с наемным трудом.

Может быть, Баранов ошибается? Преувеличивает? Может быть, он делает поспешно выводы?

Давайте проверим вместе с ним. Прибегнем к простому способу и допустим, что Ветошкин или Серафима Григорьевна получили беспрепятственное право укрупнять и развивать свои хозяйства, и представим себе, во что бы это вылилось.

Мог бы Ветошкин нанять не одну, а двух работниц на свою ферму? Несомненно. Он мог бы нанять и трех. И тридцать.

Могла ли бы Серафима Григорьевна, если бы ей позволили, прирезать еще два, три, четыре таких же земельных участка, могла бы она вместо трех-четырех голов свиней и дюжины поросят держать до сорока голов? Несомненно. До этого же она старалась всячески увеличить и свой участок, и поголовье своего скота. И

если она не расширяет своего хозяйства далее, то это происходит вовсе не благодаря умеренности ее аппетита. Ее аппетит безграничен. Ограничены возможности, условия стяжательства. Ей, как и Ветошкину, приходится балансировать.

Отсюда мы вместе с Аркадием Михайловичем можем сказать, что и Ветошкина и Серафиму Григорьевну сдерживают только условия и возможности, вернее — невозможности, а в остальном мы имеем дело с капиталистическими элементами.

Это не просто отрицательные персонажи, но и социально враждебные нам типы. Может быть, поэтому Баранов так пристально и так всесторонне изучает этот гнилой мирок Ветошкиных — Ожегановых, где ненавистное капиталистическое вчерашнее ищет легального укоренения в нашем сегодняшнем дне. Ни Серафима Григорьевна, ни Ветошкин, разумеется, не могут представлять сколько-нибудь существенной угрозы. У них нет почвы. Это случайно выросшие сорняки. Это случайные клопы в новой квартире, привезенные вместе со старым креслом. Но что вы скажете о Василии и об Алине? Они-то ведь по своей природе не сорные травы.

Рассуждая так, Аркадий Михайлович принялся думать об Алине. Кто она? Жертва Ветошкина или сознательно пришедшая в этот дом безделья и мещанского благополучия?

Кто?

Хочется верить в лучшее. Хочется думать, что Ветошкин заманил ее, расположил, околдовал и сделал своей женой. Но...

Но и в этом случае Алину нельзя оправдать полностью. Все же мы живем в такое время, когда невозможно принудить к браку и заставить мириться с крысиным царством. Алина не бесправная красавица из волшебной сказки, как и Павел Павлович при всей своей ядовитости не обладает чарами Синей Бороды или Змея Горыныча.

Как некстати вклинилась еще эта забота! Баранов мог бы пройти мимо. Но проходить мимо зла — значит поощрять его. А это не в характере Аркадия Михайловича. Но все же нельзя думать все время о Серафимах, Ветошкиных, губках, кубышках... Нужно хотя бы здесь, в городе, уйти от них.

Баранов решил зайти на рынок. Ему хочется купить что-нибудь неожиданное к ужину. Например, раков. Он очень любит раков. Хорошо купить и стерлядь. О ней так часто говорит Василий. И вот Аркадий Михайлович отправился по рядам колхозных ларьков и столов утихающего базара.

Торговля все еще шла бойко, как государственная, колхозная, так и прочая. В числе бойких и зазывных торгашей Баранов увидел старуху Панфиловну.

Он узнал ее. Узнал и корзины, с которыми она тогда приходила. Это, несомненно, была Панфиловна. Она продавала последние цветы. Но не на них обратил внимание Баранов. Его заинтересовали карпы. Их было три.

Панфиловна, заметив взгляд Баранова, обращенный на рыбу, весело затараторила:

— Последние! Свеженькие! Только из пруда. Отдам недорого. Что же вы?.. Мо-ло-дой человек.

Баранов постоял, посмотрел на Панфиловну и сказал:

— Купил бы, да Василия Петровича Киреева обидеть боюсь.

У Панфиловны едва не выкатились на прилавок глаза, но выход был найден:

— Да разве у Василия Петровича водятся в прудке такие крупные рыбины? Вы только прикиньте...

Но Баранов не стал уличать далее старуху. Для него и без того было ясно, что Серафима не пропускает даже самую малую возможность продать, нажить.

Словно напасть какая-то! И здесь, в городе, его преследует Ожеганова. А может быть, он напрасно избегает с нею прямых разговоров? Ему все равно не уйти от них. Когда-то нужно сказать, что он думает обо всем этом, и дать бой.

XXXI

На берегу Киреевского прудика задумчиво сидела Алина Генриховна, равнодушная к плавающим карпам, к своему отражению в воде и, кажется, ко всему окружающему.

Она ждала Баранова. Ей нужно было улучшить минуту и сказать ему: «Я непременно должна встретиться с вами».

Алина еще не знала, зачем ей нужно было встретиться с ним, что она скажет ему... Но потребность видеть его была так велика, что ничего не могло остановить ее.

Пока Алина занята своими мыслями, послушаем, о чем шепчутся в стороне Ветошкин и Серафима Григорьевна.

Эти два человека, разнящиеся друг от друга образованием, запросами, кругозором, вкусами, оказались самыми близкими людьми, связанными единством стремлений. У них нет ничего недоговоренного, невыясненного. Они, как два прожженных картежника-шулера, не прячут взаимного намерения облапошить один другого.

После потери тридцати тысяч озлобленная Серафима готова на любые спекуляции, чтобы как-то утишить черную ноющую боль.

Ветошкину необходимо раздобыть две-три тонны зерна. И в этом ему может помочь только Серафима.

Заламывала она очень дорого, клянясь счастьем своей дочери, доказывая, что «накладные расходы» непомерно возросли, что ей из полученного не достанется и десятой доли. Ветошкину ничего не оставалось, как согласиться на рваческий куш. Летом у крыс наибольший приплод и чудовищный аппетит. А покупать корма в розничных магазинах можно было в килограммах, не в тоннах. Да и разве натаскаешься той же крупы в кульках? Для этого не хватит и дня, даже если он, Феня и Алина с утра до вечера будут заниматься покупками.

Ветошкину приятнее было вести свое хозяйство «чисто», но «дело» неизбежно заставляло идти во все тяжкие, и он шел.

Серафима Григорьевна, чтобы набить цену, лгала Ветошкину, будто достает «левое» зерно. В действительности, разузнав через Кузьку Ключа о порченном, негодном в переработку зерне, Серафима Григорьевна надеялась приобрести его по сниженной цене и, продав Ветошкину это зерно вдесятеро дороже, выглядеть спасительницей.

Что бы вы ни говорили о Серафиме, а ее следует отнести к одаренным мерзавкам. Уж кто-кто, а пишущий эти строки ненавидит

Серафиму каждой каплей изведенных на нее чернил. Но, ненавидя, нельзя зачеркивать ее изумительной изошренности. Запусти эту особу в одну из стран, где бессовестность, обман и нажива имеют преимущественные права гражданства, дай этой Серафиме оглядеться годок-другой в такой стране... Как знать, со скольких живодеров она сняла бы там шкуру и скольких бы пустила по миру?

Получив причитающееся за зерно вперед, Серафима Григорьевна пригласила Ветошкина и его милую «Алиночку-тростиночку» отужинать вместе с новым знакомым Ветошкиных — Аркадием Михайловичем Барановым.

Серафима Григорьевна еще не теряла затаенных надежд войти хозяйкой в дом Павла Павловича, а затем проглотить его вместе с крысами. Она была уверена, что Алина рано или поздно покинет Ветошкина. И как знать, вдруг да Баранов поможет ей в этом... Сигналы налицо. Никогда не бывавшая у Киреевых Алина вдруг явилась. Явилась и терпеливо сидит на берегу, нет-нет да поглядывая на ворота.

Всякое случается во время летнего отпуска. Принципы принципами, а соловьи соловьями... Главное, Серафима Григорьевна, не робей, не падай духом и смотри теперь в оба.

Ветошкин только было хотел ответить на приглашение Ожегановой: «Нет, что вы, нам пора», но Алина опередила его:

— С большим удовольствием, Серафима Григорьевна.

В довершение ко всему в воротах появились сначала козы, затем Лида и Аркадий Михайлович. Раков он все-таки раздобыл. Он привез их, переложенных крапивой, в плетенке. Видимо, рассказанное Лидой настолько прояснило личность Алины, что, увидев ее, он весело крикнул:

— Посмотрите, какие великолепные раки!

— Я их очень люблю! — отозвалась Алина.

Ракам обрадовался и Василий Петрович:

— Никак сотня?

— Нет, две. Я покупатель оптовый.

Снова появилась белая скатерть на столе возле пруда. Снова две курицы лишились голов. Сейчас был смысл жарить молодых несушек: счет шел на тысячи, и пара кур в этом магарыче — две понюшки табаку.

Раками занялись Баранов и Киреев. Десяток самых крупных сразу же пустили в пруд для развода и как «санитаров».

Улучив минуту между курами и раками, коньяком и цинандали, Алина сказала Баранову:

— Могу ли я увидаться с вами наедине?..

Баранов ответил:

— Да!

Когда все занялись раками, Алина успела шепнуть:

— Благодарю вас, Аркадий Михайлович... Лидочка передаст вам записку.

XXXII

Василий Петрович и Баранов ночевали под сосной последнюю ночь. В большой комнате достилали пол.

Рано утром сквозь сон Василий Петрович услышал в пруду шумный всплеск, а за ним негромкий мальчишеский голос:

— Тяни, Лешка, тяни... Не сорвется...

Открыв глаза, Василий Петрович увидел двух мальчишек, сидящих на заборе. Один из них поймал крупного карпа и, выбирая леску, старался вытянуть его наверх.

Не помня себя, Василий схватил кол и опрометью бросился к пруду. Увесистый кол полетел точно в сидящих на заборе и, конечно, попал бы в одного из них, если бы быстрота и ловкость не оказали мальчишкам спасительной услуги.

Они очутились за забором до того, как зловеще свистящее возмездие пролетело над ними. Бросив удочки, они пустились наутек.

Догонять их было бесполезно.

Карп, сорвавшийся с крючка, метался на берегу, подпрыгивая в траве, и очутился снова в пруду до того, как Василий Петрович подбежал к нему.

Все это видел проснувшийся Баранов. Не подымаясь, он ждал, что скажет Василий. И тот, вернувшись с трофеями — с двумя удилищами, сказал:

— Какое, понимаешь, нахальное и открытое воровство!

— Воровство? А может быть, озорство? — тихо, еле сдерживая себя, спросил Аркадий Михайлович. — Ты вспомни себя в эти годы. На днях мы тоже с азартом в этом же прудике ловили карпов, и ты радовался вместе со мной...

Василий смяк, отвернулся.

— Это все так, но ведь рыба-то, понимаешь, не ими пущена в пруд. Они знают, что это моя рыба.

— И ты знал в их годы, что в огородах растет не тобой саженная репа или горох, — все громче и осуждающе говорил Баранов. — Но ты и я ползали крадучись по чужим огородам... Ползали не потому, что в своих не росла репа или не было гороха. Ползали потому, что охотничья страсть, проверка себя на страх, на храбрость, тяга к смелости неизбежны для этого возраста. Я не одобряю лазание по чужим огородам. Не одобряю. Я не оправдываю сладостью риска, очарованием ночного приключения подобного рода налеты, если даже ими движет только романтика... Но разве подобное преступление заслуживает наказания дубиной? Эх, Василий Киреев, Василий Киреев, старшина саперной роты! Как ты дошел до жизни такой? Как смог ты поднять руку на детей?! Как ты мог... — И тут снова Баранов оборвал гневные слова, не сказав всего, что хотел, и стал одеваться.

Утро было явно испорчено. Киреев пошел в дом проверить полы. Черный накат был уложен плотно. Протрава «адской смесью» велась исправно. Пройдет неделя, и губка останется позади. Завтра кончается отпуск, взятый за свой счет. Кузька Ключ не обманул, плотники — хорошие и добросовестные мастера. Они отлично будут работать и без него. Нужно только сегодня же сжечь заразную древесину. Другим это доверять нельзя. Могут недоглядеть и, чего доброго, сожгут дом.

Василий направился в дальний угол, где было свалено дерево, пораженное домовою губкой. Но там оказалось пусто.

— Где гнилье? — спросил он подоспевшую к нему тещу.

— А я его еще позавчера продала.

— Как продали? Заразу продали? Кому продали? Мамаша, вы в своем...

Серафима Григорьевна умела находить нужные ответы, не заставляя себя ждать, и чернейшую ложь выдавать за светлейшую правду. Не дав Василию закипеть, она сказала:

— Василий Петрович, чем таким добром небо греть, подумала я, лучше оно на кирпичном заводе кирпичи обожжет. И им хорошо, и для нас пять бумаг деньгами. Вот они.

— Это другое дело, — сразу же согласился Василий, — кирпичный завод каменный, и губкой там заразиться нечему.

Ангелина, слышавшая их разговор, знала, что ее мать лжет. При Ангелине Кузька Ключ увез на трех грузовых машинах подгнившие балки и совсем здоровые доски пола. При дочери Серафима Григорьевна, торгуясь с Ключом, говорила ему:

— Ты бы хоть, жулик, меня-то не обманывал. Стоит стеснуть с балок гниль — и за новые сойдут. А про доски нечего и говорить. Ты продашь их втридорога какому-нибудь малахольному застройщику. Наверно, уж есть такой у тебя.

Кузька не спорил. Он побаивался Серафимы Григорьевны. Видимо, она знала за ним такие грехи, за которые могут и не помиловать.

Ангелина видела, как мать пересчитывала пачки. В них было никак не «пять бумажек», которые она подала Василию. Видела и молчала.

Молчала потому, что это была ее мать. А мать, какой бы она ни была, всегда остается матерью. Матерью, которая родила ее, а потом выкормила, вынянчила, вырвала из рук многих болезней, поставила на ноги и выдала замуж. И сегодня она лгала ее мужу, может быть, тоже для нее.



Не на тот же свет, утаивая, приберегала она деньги, не на сторону же отдавала их. Или ей, или в дом, в хозяйство, а это значит — и ему, Василию.

Василий вернул теще «пять бумаг» и сказал:

— Пригодятся на олифу и охру для пола... А мне и в голову бы не пришло продать этот гиблый лес на топливо для кирпичного завода. Спасибо вам.

От этих слов щеки Ангелины густо покраснели. Она никогда не лгала Василию. Правда, она замалчивала кое-что, жалеючи мать, а теперь ей хотелось крикнуть. Назвать обман обманом... Но Ангелина опять промолчала. Застряли в горле слова.

Но несказанное, оставаясь в нас, нередко делает куда большее, чем прямая перебранка. Да, она родная дочь этой женщины. Ангелина многим похожа на свою мать. Чертами лица. Голосом. Походкой. Но и эта всего лишь внешняя схожесть теперь начинала тяготить ее. И она боялась этого растущего чувства к матери, всячески ища оправдания ее поведению. Но всему есть предел. Наступает такое время, когда человек, как бы он ни хотел, не может далее обелять черное. Нечто подобное произошло сегодня.

— Нехорошо ты делаешь, мама, — сказала, оставшись с ней, Ангелина.

— Яйца курицу не учат, Линочка, — нравоучительно и спокойно заявила Серафима Григорьевна. — Я мать. Не о себе думаю. О тебе пекусь.

Это, конечно, была явная полуправда. Такой же полуправдой было желание Серафимы Григорьевны выдать Ангелину за Василия. Она тоже тогда пеклась об Ангелине, а своей выгоды не забывала.

Что об этом говорить! Пока ей нужно молчать и прятать в своей душе чужую ложь. Прятать, пока это возможно.

XXXIII

А Лидочка по-прежнему пасла коз, исправно доила их, кормила ненасытных свиней и стеснялась в горячую пору ремонта дома попроситься в город, как бабушке. Ее бабушка Мария Сергеевна часто пересылала письма через брата Ивана. В последнем письме

между строк чувствовалось, что бабушка прихворнула. И брат Ваня не скрыл этого.

Теперь Лида уже не могла пренебречь бабушкиным здоровьем. Ведь бабушка последняя кровная родня.

Лида хотела поговорить с отцом, но поговорила с Аркадием Михайловичем. Он снова оказался на березовой опушке. Девочка была так искренна с ним, ее боязнь за бабушку была так велика, а слезы так близко, что, пораздумав с минуту, он сказал довольно повелительно:

— Вот что, Лидия... Отправляйся к бабушке, не заходя на дачу. А я буду пасти коз. И буду в ответе за все.

— Вы?

— Я!

— Это же очень смешно и нелепо!

— Тем лучше.

Лидочка все еще колебалась:

— Но как отнесется к этому Серафима Григорьевна?

— Не беспокойся, моя милая. Я с нею договорюсь. Мы так хорошо понимаем друг друга... Беги!

Лида побежала было, но, что-то вспомнив, вернулась.

— Это от Алины. Вот!

Лидочка подала Баранову письмо в маленьком конверте. Затем, сверкнув белой юбочкой, она помчалась к трамвайной остановке. Козлята ринулись за ней, но коза, привязанная к колу, позвала беглецов обратно. И они вернулись.

Оставшись один в перелеске, Баранов не стал долго раздумывать, махнув рукой на коз, он отправился на дачу. По дороге на дачу Баранов увидел девушку-почтальона.

— Нет ли Баранову письма? Дом семь. Дом Киреевых.

— Есть, есть. Даже два. Вот, пожалуйста! — Девушка подала письма. — И затем, если нетрудно, захватите повестку Ожегановой Эс Гэ. Ей возвращается из Целинного края перевод. Три тысячи.

Объясните ей, что адресат, Радостин Я Вэ, отказался получить этот перевод. Пожалуйста. Ей выдадут эти деньги обратно на почте.

Из этой тирады, произнесенной залпом, Баранов понял сначала не очень много. Но ему запомнилась фамилия — Радостин. Откуда он знал ее? Очень знакомая фамилия. Потом вспомнил, что о Радостине писал ему Василий, советуясь о своей женитьбе и «раскрывая всю дислокацию и положение вещей». Он вспомнил о кандидате в женихи Ангелины. А вспомнив, он не мог не спросить себя: зачем Серафиме Григорьевне понадобилось переводить Радостину деньги?

Зачем?

Василий уже начал работать после отпуска на заводе. Его не было дома. Ангелина Николаевна возилась с обедом. Серафима Григорьевна, как сыч, не сводила глаз с плотников. Следила за каждой пришиваемой половицей, проверяла, нет ли щелей. Старики Копейкины таскали для засыпки черного пола сухую землю.

У Баранова с Ожегановой разговор был коротким.

— У меня, Серафима Григорьевна, есть дочь Надя. Она ровесница Лидочки. И вам, надеюсь, понятно, почему я так люблю Лиду, если не считать, что она, кроме всего прочего, дочь моего друга? У нее заболела бабушка. Ее родная бабушка, Мария Сергеевна. И я приказал Лиде отправиться домой. У вас есть возражения?

— А как же козы?

— Козы? Коз я оставил в лесу.

— Одних?

— Да. Они, как я заметил, вполне самостоятельные животные и щиплют траву без посторонней помощи.

— А понравится ли такое хозяйничанье Василию Петровичу? — осторожно козырнула Серафима Григорьевна именем зятя.

На это Баранов решил выбросить козырька покрупнее:

— Ну, я думаю, что меня в этом деле оборонит Панфиловна!

— Какая Панфиловна?

— Та, что торгует не только вашими душистыми цветами, но и карпами Василия Петровича, которые, я думаю — не утверждаю, а всего лишь думаю, вылавливаются в пруду не руками Панфиловны... Но вы знаете, я не люблю семейных распрей, и тем более не в моем характере разбивать семейное счастье. А оно может разбиться. Кстати, вот вам повестка на возвращенный перевод из Целинного края, на имя Радостина... Он, кажется, если мне не изменяет память, делал попытки жениться на вашей дочери?

Серафима Григорьевна, бледная, жалкая, сверкала и мигала левым глазом так часто, что ей пришлось его закрыть. Это уже был явный тик.

— Да. Я была должна Якову Радостину три тысячи...

— И Радостин отказался получить обратно свои деньги?

— Может быть, его не нашли? Или он уехал?

— Нет, почтальон ясно сказала: «Возвращаются по требованию адресата». Адресата, то есть Радостина. Читайте, — сказал Баранов, подавая повестку.

Ожеганову била мелкая дрожь. Теперь для нее не было страшнее человека, нежели Баранов.

И она стала лгать нагло и откровенно:

— Я и в самом деле собиралась отпустить Лиду и перевести коз в стойло. А вам, Аркадий Михайлович, спасибо за то, что вы так чутко отнеслись к Лидочке!

— И я вас благодарю. Мне давно известно, что вы умная женщина!

XXXIV

Работа плотников близилась к завершению. Ангелина и Серафима Григорьевна, жившие во время ремонта дома в светелке второго этажа, освободили ее Баранову. Лидочка не возвращалась, хотя бабушке стало значительно лучше. Она знала теперь, что Баранов не оставит отца в беде. Иван приезжал изредка. Аркадий Михайлович все же сумел поговорить с ним откровенно, хотя до конца так и не узнал этого тихого и, кажется, слишком замкнутого парня.

Особенных событий за эти дни не было, если не считать ночного лая Шутки и появления хоря, начавшего рыть новый подкоп.

Узнав об этом, Василий Петрович объявил:

— Ну, я его сегодня, бандита, укокошу! Где бы только залечь? Хочешь, Аркадий, поохотимся вместе? У меня кроме двустволки есть еще отцовская шомполка.

— Если не задержусь в городе.

— Зачем тебе туда на ночь глядя?

— У меня свидание.

— С кем?

— С Алиной.

— Да брось ты!..

— Тебя удивляет это, Вася?

— Да нет, но все же замужняя женщина...

— И что же из этого? Почему замужняя женщина не может встретиться и поговорить с женатым мужчиной?

— Это конечно, Аркадий, может, но, понимаешь, почему не поговорить здесь?

Аркадий Михайлович на это сказал так:

— Не все и не всегда хочется выносить на люди. Я думаю, что самый факт разговора со мной Алины насторожил бы Павла Павловича. А у него, мне кажется, есть основания насторожиться.

— Это верно, — сказал в раздумье Василий. — Я тоже, понимаешь, хотел с нею как-то поговорить о ее жизни... Да как-то, понимаешь, постеснялся в чужую жизнь залезать.

— В чужую жизнь? А есть ли теперь на свете или по крайней мере в стране чья-то жизнь, которую можно назвать чужой? Есть ли, старшина саперной роты Василий Киреев?

— Да так-то оно так... — хотел возразить Василий, но передумал.

— Вот что, давай я тебя подкину до трамвайной.

— Подкинь!

«Москвичок» тархтя поковылял по колдобинам проселка, выехал на шоссе. Попалась «Волга» с зеленым огоньком. Баранов крикнул: «Такси!» — и распрощался с Василием.

По возвращении Василий занялся ружьем, а потом засадой. Был сделан небольшой балаганчик из веток метрах в двадцати от подкопа. Шутку было велено запереть наверху, чтобы она не спугнула зверя.

Тем временем на одной из окраинных улиц города, у водопроводной колонки, неподалеку от рощицы, превращенной в небольшое подобие парка, ждала Алина.

— Здравствуйте, Аркадий Михайлович, — окликнула она Баранова.  
— Все как в романтической пьесе... Не правда ли, все это для вас так неожиданно?

— Нет, почему же! Мне это кажется вполне нормальным.

— И мне, — живо отозвалась Алина. — Мне с первой встречи с вами захотелось рассказать вам о себе. Это не ново в жизни. Иногда люди, не сказав и десяти слов друг другу, оказываются в первую же встречу старыми знакомыми. Вы — мой старый знакомый. Мне кажется, вы были вожатым моего пионерского отряда. Мне кажется, вы принимали меня в комсомол. Этого не было, но это было, и меня никто не разуверит в том, во что мне хочется верить. Вам понятно это?

— Да-да, — живо согласился Баранов. — И я теперь вспоминаю, что вы были в моем пионерском отряде. И мы торжественно принимали вас в комсомол... Я тоже убежден в этом, даже если вы были не совсем вы... Важно то, что мы оба хотим этого. А это самое главное.

— А если это самое главное, то могу ли я не хотеть рассказать вам все, чтобы оправдаться перед вами? Или перед собой? Это все равно. Такое бывает в жизни?

— Разумеется.

Разговаривая так, они уселись на скамью в глубине рощицы. Алина подняла вуалетку. Ее лицо заметно осунулось за эти дни. Глаза стали еще больше. Она глубоко вздохнула. Помолчала с минуту и сказала:

— Сейчас я соберусь с мыслями и начну рассказывать. У каждого должен быть такой человек, которому он может сказать все. У меня никогда не было такого человека. Лида еще очень юна и наивна. А вы... Я влюбилась в вас с первого взгляда. Нет, я была влюблена в вас до того, как мы встретились. Не правда ли, Аркадий Михайлович, каждый человек должен быть влюблен в недостижимое?

Баранов заметно смутился:

— Вы заставили меня покраснеть, Алина Генриховна.

— Называйте меня Алиной. Или просто Анютой. Так меня называла мать. Это мое настоящее имя. Я могу показать вам паспорт. Впрочем, зачем же... Слушайте...

Рассказ Алины стоит специальной главы. И мы предоставляем ей эту главу.

XXXV

— Я, Аркадий Михайлович, принадлежу к старинной цирковой династии. Она не так знаменита, как династия Дуровых, которая, если не ошибается моя тетушка, доводится нам родственной.

Мой дед, Иван Гаврилович, специализировался в молодые годы в жанре клоунов-сатириков Бим и Бом. И кажется, иногда в петербургском цирке Чинизелли дублировал одного из них.

Кончил свою жизнь мой дед на войне с Деникиным.

Мой отец, Гавриил Гарин, цирковая фамилия — Генрих Гранде, был жонглером, занимался вольтижировкой. Работал на проволоке и закончил «рыжим» у ковра. Белых клоунов он недолюбливал, как и я. Это какое-то голубое амплуа.

Во мне отец хотел видеть воздушную гимнастку и одновременно готовил меня в наездницы. Впрочем, я училась всему. И тарелкам. И проволоке. И даже фокусам... У меня была нелегкая жизнь. Среднюю школу я окончила с трудом, кочуя с отцом и матерью из города в город. А после школы ежедневные цирковые занятия... Потому что хрящи и все такое, что вам неинтересно знать, нужно «захватывать», как говорил папа, с самого раннего возраста. Мой отец не был верующим человеком. Не верила в бога и моя бабка, работавшая с тиграми. Но между тем бабушка, отдавая дань

суеверию — ему подвержены были многие циркачи, — словом, бабка тайком крестила меня Анной. Но согласитесь, Анна — слишком тяжелое имя для воздушной гимнастки. И я стала Алина. Довольно эффектное имя. А коли по цирку отец был Генрихом, отсюда пришло и мое отчество — Генриховна. Дань цирковым пережиткам. Все должно быть необыкновенно. Пережитки дают себя знать всюду.

Я влюбилась двадцати лет с небольшим. Он был тоже воздушный гимнаст. Алексей Пожиткин. Имя явно неблагозвучное для афиши, но Алексей не хотел считаться с традициями. Знаменитый клоун Олег Попов тоже мог бы придумать себе сверхзвучное имя. Между тем едва ли кто в его жанре звучит громче в советском цирке. Алеше было двадцать пять лет. Он тогда еще не сверкал под куполом. Поэтому папа сказал, что я не буду счастлива с ним. К тому же он дважды срывался. Отцу не хотелось видеть меня вдовой или того хуже — женой калеки. И отец помешал моему счастью...

А потом... Потом, Аркадий Михайлович, у меня ничего не было. Это, кажется, не мои слова. Это, кажется, слова леди Гамильтон, которые она произносит в известном английском фильме.

А потом... Потом появился в цирке Павел Павлович. Появился таким степенным, строгим, обездоленным жизнью вдовцом. Он приходил в цирк только в конце второго отделения. Садился в первый ряд. Дождавшись моего номера под куполом и посмотрев его, уходил.

В цирке все заметили это и стали поговаривать: «О-о-о! Алина! У него, кажется, серьезные намерения». Мне тогда не было дела до его намерений, но вскоре нашлась сваха. Это была моя тетка. Тоже Анна. Она не имела никакого отношения к цирку. Она презирала его. Тетка работала театральной швеей. Она и до сих пор, выйдя на пенсию, консультирует костюмеров. С нее-то и начал прокладывать ко мне дорогу Павел Павлович.

С теткой нетрудно было познакомиться. Она консультировала и убранство комнат. Побывав с этой целью на даче Павла Павловича, тетушка пришла в совершеннейший восторг от всего, что она там увидела. Конечно, не от крыс он их скрывал.



Вскоре на дачу пригласили и меня. Павел Павлович неплохо играл свою роль. Этаким Гремин из «Евгения Онегина»... Такой заслуженный и одинокий воитель...

Тетка вскоре стала завсегдатаем дачи Ветошкина. И затем начались «рассуждения о профессии воздушной гимнастки».

Все было очень логично. Успех работающей под куполом хотя и блистателен, но скоротечен. Богатство хотя и презренно, однако не столь вредно для жизни молодой женщины. Шуба из норки не теплее барашковой, но элегантнее. Безнравственно думать о наследстве, а отказываться от него нелепо. Пешая ходьба приятна, а езда в автомобиле еще приятнее. Старый муж не находка, но и не потеря молодого возлюбленного.

И так изо дня в день. Из месяца в месяц. Вначале меня это смешило, и мне даже было забавно представить себя женой Ветошкина. Но Павел Павлович действовал не только через тетку. Нашелся еще некто. Узнаете и об этом...

Меня всегда называли «экспортной гимнасткой» — и долго готовили к заграничному турне. И когда уже оставались до турне считанные недели, вдруг подул какой-то ветерок. Затем мне одним из организаторов поездки «доверительно» было сказано, что кто-то нашел мои возможности недостаточными, чтобы представлять советский цирк за рубежом.

Все это говорилось сочувственно и по секрету... И чтобы «спасти мою репутацию», мне посоветовали самой отказаться от поездки, найдя благовидную причину.

Это было как снег на голову. Я не находила себе места. И тетушка, также «спасая» меня, посоветовала объяснить мой отказ предстоящим замужеством. Павел Павлович на другой же день сделал предложение, и я, негодуя, не помня себя, ответила согласием...

Крышка западни захлопнулась. Мышь была поймана. У тетушки появилась новая шуба. У сотрудника, участвовавшего в организации заграничного турне и «оберегавшего» мою цирковую репутацию, заметно улучшился гардероб... Разумеется, тогда я об этом не знала, как не знала и о крысах, позволивших Павлу Павловичу так щедро вознаградить сватов. Я не в претензии на тетку. Он обманул и ее. Счеты у меня только с ним.

Я ушла из цирка. Дом Павла Павловича стал моей клеткой. Я не могу обвинить его в дурном обращении. Его отношение ко мне было таким же, как и ко всему тому, что принадлежало ему. Картины, серебро, антикварные редкости, меха и, наконец, крысы...

Я упала из-под купола цирка, но не расшиблась. И не покалечила своей души. Я не хочу скрывать — материальный соблазн не миновал меня... Все это было, пусть не в такой степени, как это кажется Серафиме Григорьевне и, может быть, кому-то еще... Это было. Но этого больше нет. Я поднялась после падения без посторонней помощи, на свои ноги, без костылей.

Вот и все.

Теперь дайте мне немножечко всплакнуть. Дайте мне почувствовать, что на свете есть человек, который может правильно понять меня и оценить мою откровенность.

XXXVI

Глаза Алины смеялись, а слезы еще текли.

— Боже, какой вы родной, Аркадий Михайлович! У вас, кажется, брови, как у моего папы, чуточку с рыжиночкой.

Она коснулась своим тонким, длинным пальцем сначала одной брови Баранова, потом другой и шепнула:

— Мой рассказ не убедил вас? И вы, добрый человек, не находите для меня оправдания? Или хотя бы снисхождения?

— Нахожу, — сказал Баранов. — Только не называйте меня добрым. Да и доброта доброте рознь. Например, доброта Василия Петровича позволяет ему мириться с проделками тещи. Во мне нет и не может быть такого доброго начала. Я вам скажу все, что думаю о такого рода браках. Неравных браках. А в данном случае — протiwоестественном браке. Не сердитесь, если я буду резковат. Но ведь не соловьев же слушать пришли мы на это свидание?

— Да, конечно, Аркадий Михайлович.

— Я допускаю как редчайшее исключение, когда молодая женщина любит человека вдвое старше себя! Но для этого человек должен быть, во-первых, человеком, а во-вторых, содержательной, интересной личностью. Я знаю очень немолодого композитора, в которого тайно влюблена очень молодая женщина. И я верю ее

любви. Потому что такого невозможно не любить женщине, для которого его мир музыки — ее мир. Она скрипачка. Вы наверняка слышали ее имя. Брак Василия по возрастным признакам тоже не очень равный, но я не вижу в нем неравенства. Напротив, иногда молоденькая Ангелина Николаевна мне кажется старше Василия. Василий — человек длительной юности. Я его вижу комсомольским вожаком. Заводилой. Весельчаком. Правда, дом и Серафима Григорьевна — заботы приглушили все это. Приглушили, но не умертвили. Но это преамбула. Я не утомляю вас?

— Нет, я терпеливо жду, когда вы начнете говорить обо мне.

— Сию минуту. Но прежде еще маленькое введение. Алина Генриховна, не казалось ли вам оскорбительным, когда в театре или на курорте вам встречается пара — он уже не без труда передвигает ноги, а она еще не вступила в полную силу расцвета?

— Да, Аркадий Михайлович, это всегда выглядит оскорбительным.

— Для кого?

— Для нее.

— Нет, я терпеливо жду, когда вы начнете говорить обо мне.

— Сию минуту. Но прежде еще маленькое введение. Алина Генриховна, не казалось ли вам оскорбительным, когда в театре или на курорте вам встречается пара — он уже не без труда передвигает ноги, а она еще не вступила в полную силу расцвета?

— Да, Аркадий Михайлович, это всегда выглядит оскорбительным.

— Для кого?

— Для нее.

— Не только. Но и для общества. Браки такого рода, если вы захотите вдуматься, чистой воды проклятое наследие капитализма. Я не ищу иных слов. Прямые политические слова всегда наиболее точны. В этих браках, извините за прямоту, сквозят товарные отношения.

— Вы сказали — товарные? В каком смысле, Аркадий Михайлович?

— В самом прямом. В экономическом. Есть более точный термин для подобных отношений. И они, эти отношения, не изменяются от их продолжительности или узаконения их регистрацией. Какая

разница между мигом и десятилетием, если сущность и мига и десятилетия основывается на вознаграждении! Прямым ли вручением денег или косвенным вознаграждением — в виде дачи, нарядов, украшений...

Алина незаметно сняла золотой браслет и сунула его в сумочку.

— Природа такого союза, хочется сказать — такой материальной сделки, остается той же. Потому что в ее основе лежит купля и продажа или, как я уже сказал, товарные отношения. И как бы искусно ни оправдывала себя молодая женщина и, того хуже, девушка, вышедшая замуж за господина, похожего на Павла Павловича Ветошкина, общественное мнение никогда не обелит ее. Не обелит, если даже оно молчит. Молчание тоже о чем-то говорит.

Алина, заметно побледневшая, нервничая, спросила:

— Вы, кажется, от общего уже переходите к частному?

— Нет, Ветошкин не частность. Он, правда, исключителен по своему цинизму. Но если бы он был иным? Романтиком или благодушным простаком? Природа стариков — приобретателей молодых жен — не украшается никаким обрамлением. Ни положением, ни заслугами, ничем. Всякий брак по расчету был и остается буржуазным, капиталистическим браком.

— Капиталистическим? — Алина пожала плечами и, желая обезоружить Баранова, спросила: — Так что же выходит?.. Если есть капиталистический брак, значит, в противоположность ему, должен быть и коммунистический. Какой же он, этот брак?

Баранов ответил так:

— Я, разумеется, не являюсь теоретиком и провидцем браков будущего. Но я думаю, что брак в идеальном виде — это такое соединение женщины и мужчины, когда их сводит воедино любовь. И только любовь, без всяких побочных соображений и примесей корысти, выгоды и прочих материальных зависимостей. Любовь, и только любовь, в коммунистическом обществе будет цементирующей, и очень прочно цементирующей, силой супружеской пары. Я верю в это. Согласны ли вы с этим?

— Умозрительно — да. Но практически даже в наши дни существует достаточно всякого-разного. Приходится принимать во внимание многое.

— Вы правы. Пока существует экономическое неравенство, пока есть возможность обманывать, наживаться, стяжать, рецидивы капитализма будут давать себя знать и в браке. С этим нужно бороться, но как? Могли бы, например, закон, суд, печать, прокурор запретить вам вступить в брак с господином Ветошкиным? Никто не мог воспрепятствовать вам, кроме вашего сознания, а оно, какие бы доводы вы ни приводили, оказалось не на высоте.

— Значит, в вашей душе нет для меня прощения?

— При чем здесь мое прощение? Я не судья. Мой голос в данном случае совещательный. Дайте закончить мысль... Ваш брак с Ветошкиным не мог бы произойти, если бы вы не согласились на него. Ловушки, мышеловки, тетки, коварные подстрекатели, крах заграничного турне — все это доводы для успокоения вашей совести, которая заговорила в вас. Вы хотите оправдаться перед собой и зовете меня в адвокаты. Вам нужно, чтобы я помог вам уговорить вашу совесть. Это невозможно. Невозможно потому, что вы сознательно разрешили Ветошкину приобрести вас. Сознательно. Это же не было делом минуты. Это же были недели размышлений. И старая ведьма, о которой вы, наверное, тоже слышаны, была не просто вашей главной сводней, но и, что называется, посаженной матерью, а тетка — всего лишь ее пособницей. Анна Гавриловна, вы нуждаетесь не в самообманных примочках и припарках. Вы должны трезво и мужественно понять и оценить свое падение.

— Падение? — почти взвизгнула Алина.

— Неужели вы это считаете взлетом? Ваши отношения с Ветошкиным, еще раз прошу простить за повторение, были отношениями купли и продажи. И нам незачем с вами искать благозвучных определений и легкомысленно сводить это все к легкому головокружению по неопытности и коварству тетки. Это не нужно для вас. Вы никогда не любили Ветошкина. Его не может полюбить даже Серафима Григорьевна, хотя она, как я слышал, и ставит на него свои сети. Это принципиально то же самое. Только в этом случае обман будет обоюдным. Значит, экономическая сделка в этом случае может выглядеть наиболее, относительно говоря, честной.

— Спасибо, Аркадий Михайлович...

Алина решила уйти. Баранов удержал ее:

— Нет, погодите, Алина. Не затем я шел сюда, чтобы поссориться с вами, а «совсем наоборот», как говорит Сметанин из «Красных зорь».

Алина запротивилась:

— Странный способ... Отхлестать по щекам... Назвать женщину где-то между строк худшим именем, какое только можно вообразить, и после этого говорить «совсем наоборот».

— Анна Гавриловна! То, что я сказал, это правда. Она колюча, обидна. Можно было говорить мягче. Но разве эта мягкость была бы достойной платой за ваше доверие ко мне? Правда не браслетка, ее нельзя спрятать в сумочку.

— Вы жестоки, Аркадий Михайлович!

— Я чудовищно милосерден. Я не узнаю сегодня себя. Я, кажется, еще никогда не говорил ничего подобного женщине. Видимо, ваша жизнь как-то особенно небезразлична мне. Наверно, поэтому я и не могу помочь вам обмануть себя. Если стыд, и боль, и слезы большого глубокого раскаяния не помогут вам, значит, не поможет никто. Если вы не содрогаетесь при воспоминании о его прикосновении всего лишь к вашей руке или щеке, значит, мое и ваше время сегодня было не просто потеряно, но и осквернено. Вы, окунувшись в помойную яму, хотите убедить себя и других, что от вас пахнет розовым маслом. В это не может поверить даже негодяй. Человеческая духовная чистота будет и уже становится важнейшим, извините за протокольное выражение, критерием человеческой личности. Коммунистическим критерием.

Алина не могла сдержать рыданий:

— Так что же теперь?

— Спросите об этом свою совесть. Спросите стыд, заливший ваши щеки. Спросите ваши слезы. Спросите, наконец, вашу домашнюю работницу Феню. Она хотя и сбежала из колхоза «Красные зори» в погоне за длинным рублем, но продала Ветошкину только свои рабочие руки. Рабочие, но не девические. Когда же Ветошкин попробовал поцеловать ее руки, а затем обнять Феню, она ему тут же довольно выразительно объяснила свою точку зрения на этот счет. В результате этого объяснения Ветошкину пришлось

заказывать протезисту новую верхнюю челюсть. У Фени очень твердые взгляды на чистоту отношений.

Алина не могла сдержать рыданий:

— Так что же теперь?

— Спросите об этом свою совесть. Спросите стыд, заливший ваши щеки. Спросите ваши слезы. Спросите, наконец, вашу домашнюю работницу Феню. Она хотя и сбежала из колхоза «Красные зори» в погоне за длинным рублем, но продала Ветошкину только свои рабочие руки. Рабочие, но не девические. Когда же Ветошкин попробовал поцеловать ее руки, а затем обнять Феню, она ему тут же довольно выразительно объяснила свою точку зрения на этот счет. В результате этого объяснения Ветошкину пришлось заказывать протезисту новую верхнюю челюсть. У Фени очень твердые взгляды на чистоту отношений.

— Кто вам сказал об этом?

— Серафима Григорьевна знает все, что происходит в доме, куда она мечтает войти хозяйкой, — ответил Баранов. — Таким образом, и Феня могла бы вам дать полезные советы.

Баранов посмотрел на часы. Алина, заметя это, спросила:

— Я, кажется, слишком много отняла у вас времени?

— Нет, — ответил Баранов, — сущие пустяки. Два часа тридцать пять минут.

— Откуда в вас столько сарказма? У вас такое открытое доброе лицо...

Баранов не ответил на это. Еще раз посмотрев на часы, он спросил:

— Вы в городок, Анна Гавриловна?

— Нет, я в цирк. Там еще не закончилось представление.

Они поднялись. Он проводил ее до остановки автобуса. Разговор не возобновлялся. Да и не о чем было уже говорить.

XXXVII

Двенадцати еще не было, когда Баранов вернулся домой.

Василий готовился к засаде. Хорь раньше двух никогда не приходил.

— Ну как, Аркадий? Свиделись?

— Она превосходный человек. Она выпутается из тенет старой ведьмы.

— Далась тебе, понимаешь, эта сказка...

— Далась не далась, а из головы не выходит. Это не простая сказка, Василий, хотя она и не так гладко пересказана...

Василий не слушал.

— Ну как, ты будешь со мной охотиться на хоря?

— Да нет, Василий... Он, я думаю, больше одной курицы не загрызет, а ее цена дешевле твоей ночи.

Аркадию Михайловичу хотелось после встречи с Алиной остаться одному. И он направился в светелку на второй этаж. А Василий залег в засаду.

В доме уже спали. Храпели и плотники в шатре.

Не думал Аркадий Михайлович, что его отпуск будет таким хлопотливым. До пленума городского комитета партии остается не так много дней. Ради этого пленума и приехал сюда Аркадий Михайлович. Ему оказывают огромное доверие. Предстоит большая и трудная работа. Справится ли он с нею? Справится ли, если он не может распутать «нитки в этом курятнике» и решить частную историю в доме своего друга?

Не уехать ли ему отсюда? Не правильнее ли будет перешагнуть малое и оказаться ближе к большой жизни большого города? Что его удерживает здесь?

Что?

Ведь Василий не ребенок. Его нельзя взять за руку и увести. Он любит Ангелину. У него здесь дом. Ему дорог здесь каждый корень, каждый посаженный им куст, каждый пущенный им в пруд ерш...

Да что ты, право, Аркадий! Зачем ты все это так близко принимаешь к сердцу? Нельзя же в ущерб большому расплыться на малое...

Но малое ли это? Малое ли?



Уже половина третьего, а ты не спишь. Ты все думаешь. Перестань. Усни!

Но как можно не думать, коли такой добрый и, главное, духовно здоровый человек, как Василий, не понимает, что он в ловушке у своей тещи Серафимы Григорьевны.

В ловушке ли?

Не он ли сам построил себе западню с мезонином и сознательно вошел в нее? Как тесно в твоей голове, Аркадий Михайлович... Как недостает в этой тесноте нужных хороших мыслей...

Несомненно одно — ты должен поговорить со своим товарищем. Поговорить так же, как с Алиной, ничего не смягчая. Поговорить, не жалея и не щадя его. Настоящая дружба выше жалости.

Так он и решил, засыпая. Но уснуть ему не пришлось. Раздался выстрел, а затем начался переполох.

Василий долго ждал хоря, а хорь не приходил. Наконец послышался шорох. Василий напряг глаза. Он увидел крадущегося вдоль затемненного фундамента зверька. Луна светила по ту сторону курятника.

Будь она неладна, эта луна! Чего доброго, промажешь — тогда снова выслеживай всю ночь!

Василий выстрелил. Жертва с пронзительным визгом умчалась.

И когда все были на ногах, Василий увидел катающуюся по траве Шутку. Собака безуспешно старалась выдавить передними лапамидробинку из простреленного глаза.

— Милая Шутка! Несчастливая Шутка!

Теперь стало ясно все. Это Аркадий нечаянно выпустил запертую в доме собаку.

Пока сбегали к Ветошкину за Феней, пока она извлекала дробинку из глаза собаки, уже рассвело.

— Будет жить! — сказала Феня. — Но останется кривой. Советую показать глазнику.

— Ах, Шутка!..

Василий ушел в малинник. Ему было безумно жаль скулящую собачонку. Ему было стыдно за нелепую охоту во имя куриного благополучия.

Разговаривать с Аркадием не хотелось. Видеть дрожавшую всем телом Шутку с перевязанной головой он не мог. Василий уехал на завод часа на два раньше срока.

А когда он уехал, Серафима, разводя руками, сказала:

— Скажите на милость! Как можно так расстраиваться из-за какой-то собаки... Усыпить ее, да и все! Цена ей в базарный день четвертной билет!

Тут к Серафиме Григорьевне подошел Баранов. И он спросил ее громко, чтобы слышали все:

— Скажите, Серафима Григорьевна, во сколько рублей вы оцениваете себя? У вас все имеет цену.

Серафима от неожиданного вопроса села на ступени крыльца и снова вывернулась:

— Так я же ведь в том смысле, чтобы Василия Петровича не расстраивала одноглазая Шуточка. Она собачка хорошая, и мне ее, милую, может быть, больше всех жалко! — всхлипнула Серафима Григорьевна. — И если я не реву, а сдерживаю себя, так только для того, чтобы других не расстраивать. — И залилась слезами.

Баранов на это выругался хотя и довольно тихо, но достаточно энергично. Ожеганова эту брань услышала дословно.

Завтрака Аркадий Михайлович дожидаться не стал. Он оделся и отправился в город. Его догнал Ваня. Он сегодня ночевал на даче. Этот молчаливый парень вдруг заговорил:

— Вы плохо подумали сегодня о папе, Аркадий Михайлович?

— Да-а, — ответил Баранов, — восторгаться особенно нечем.

— Я не о восторгах, Аркадий Михайлович... Но папу нужно жалеть. Папа хороший человек, очень хороший... Но он болен. Папа очень серьезно болен. За болезнь нельзя ненавидеть... Нельзя!

Баранов услышал в сказанном Ваней голос Лидочки. Она так же защищала своего отца.

— Может быть, он и болен, — отрезал Баранов, — но всякую болезнь нужно лечить. Лечить! — повторил он. — А не вздыхать. Сочувствие не всегда хорошее лекарство, комсомолец Иван Киреев...

Баранов услышал в сказанном Ваней голос Лидочки. Она так же защищала своего отца.

— Может быть, он и болен, — отрезал Баранов, — но всякую болезнь нужно лечить. Лечить! — повторил он. — А не вздыхать. Сочувствие не всегда хорошее лекарство, комсомолец Иван Киреев...

В душе Баранова больше не было пощады. Нужно было действовать. И это убеждение не находило теперь никаких смягчений.

### XXXVIII

Фенечка приходила на дачу к Киреевым через каждые два часа. Она делала Шутке обезболивающие уколы, и к полудню собака перестала скулить.

Серафима Григорьевна, видя радение Фенечки и думая, что все это делается ради приработка, как бы между прочим обронила:

— Коли Фенечка так старается вылечить Шуточку, мы за каждый укол заплатим вдвойне!

Феня на это ответила довольно двусмысленно:

— С собак не беру.

Серафима Григорьевна сделала вид, что не поняла издевки, расплылась в улыбке:

— У собаки какие деньги! А у хозяев они случаются...

Ей очень хотелось завести разговор с Феней и расположить ее к себе. Но девушка не прощала и никогда не простит Ожегановой давнего гнусного намека на то, что будто Феня перебежала Серафиме Григорьевне дорогу к Ветошкину. И если бы не Василий Петрович и тем более не ее любимица Лида, которая обожала Шутку, конечно, Феня не появилась бы здесь.

Часам к двенадцати плотники попросили расчет:

— Принимай работу, Григорьевна, да раскошеливайся!

Ожеганова боялась просчитаться:

— Хозяина придется подождать. А пока что надо подобрать щепу, стружку. Две двери перенавесить. Сидеть даром не заставлю!..

И она стала придумывать работу, чтобы занять плотников до прихода Василия.

День обещал быть знойным.

Козы, изнемогая от жары, просились на пастбище. Куры ходили в вольере с открытыми клювами, листья растений сникли. Пруд заметно убыл. Карпам стало еще теснее в мелкой воде. Опять два из них всплыли кверху брюхом. Придется их зажарить сегодня на ужин плотникам.

Ангелина ходит как в воду опущенная. Неохотно разговаривает с матерью. Наверно, на что-то сердится... Не растревожил ли ее неожиданный приезд Якова Радостина? Может, помочь им встретиться? Не самой, а через кого-нибудь... Самой в это дело вступать неловко. Мать как-никак. Может, ее и отблагодарит за это дочь? Да нехорошо подумает...

Серафиме Григорьевне нужно было и самой повидать Радостина и узнать, почему он не принял посланные ему от всей души три тысячи рублей. Люди зря говорят, что Ожеганиха змея и скряга, что ни о ком, кроме себя, не думает и не болеет. Нет, она думает и болеет. Радостина ей всегда было жалко за то, что так нескладно получилось с угоном машины. Ведь это произошло вскоре после того, как Серафима сказала ему, что «жених без денег — без листьев веник». А он, видать, сильно любил Линочку.

— Ох! Грехи наши тяжкие! — вздыхает Серафима Григорьевна, просаливая под жабрами уснувших карпов, чтобы они не протухли в такую жару до ужина.

А мысли, как низкие осенние тучи, бегут одна за другой. Воспоминания пугают Серафиму Григорьевну.

А вдруг он и по сей день любит Ангелину? А вдруг он затем и приехал сюда, чтобы свидеться с нею и поломать благополучие ее дочери?..

Ненастно в голове Серафимы Григорьевны.

А вдруг да в отместку за все обиды Яшка расскажет Василию, как Серафима Григорьевна, охотясь за китом Киреевым, прикармливала на всякий случай и окунька Радостина?..

Было же ведь это? Было!.. Если бы Серафима Григорьевна не заметала следы, зачем бы ей понадобилось ублажать Якова тремя тысячами, посланными на целину?

Улика?

Улика!

Думает так Серафима Григорьевна, просаливая тухлую рыбу, и принюхивается...

Да уж от карпа ли это смердит?

Козы опять подают жалобный голос, а Лидки все нет и нет. Да и приедет ли она?

Серафима Григорьевна не ошиблась. Лидия больше не вернется сюда. Так она твердо сказала Аркадию Михайловичу, который навестил ее в городе и познакомился с первой тещей Василия, с милой и приветливой женщиной Марией Сергеевной.

Он знал о ней по письмам, в которых Василий ласково называл Марию Сергеевну милой мамочкой. А она оказалась еще лучше. И Баранов тоже произвел на нее отличное впечатление. Она даже сказала:

— Коли там у вас нелады, селитесь у нас, дорогой Аркадий Михайлович!

— Да что вы! — ответил тогда Баранов. — Благодарю вас. Мне уже дали номер в гостинице, и я переселюсь туда в ближайшие дни.

Аркадий Михайлович, оставаясь в доме Василия, был готов к большому разговору с ним. Баранов еще не знал, с чего начать этот разговор, но все развязалось само собой.

После бессонной ночи у Василия Петровича произошло то, чего никогда не случалось с ним за многие годы сталеплавильной работы.

Заслезился, а потом потек свод мартеновской печи.

Невыспавшийся, нервничающий, он недоглядел за пламенем факела. Незаметно нагнал слишком высокую температуру.

Раздраженный и злой, он не захотел внять голосу первого подручного.

— Не учи! И главное, не паникуй, — оборвал он Андрея Ласточкина и прибавил факел.

Ласточкин не верил своим глазам. Со свода тянулись обильные нити расплавившихся огнеупоров. Ласточкину нужно было вмешаться решительно и, может быть, устранить Василия. Но любовь к нему, безграничная вера в его мастерство удержали Андрея. Он всего лишь сказал:

— Ты рискуешь сводом, Василий Петрович. Глянь в печь!

И Василий глянул в смотровое отверстие печи. Его слипавшиеся от бессонной ночи глаза широко раскрылись. Ему стало понятно, что дело плохо. Он резко убавил факел. Но было уже поздно. Температура не могла упасть сразу.

Свод потек еще сильнее и наконец стал рушиться. Василия зазнобило у горячей печи. Он едва устоял на ногах. Сердце замерло. В глазах круги. В висках стук. В горле ком.

Плавка испорчена, печь выведена из строя. Василий приказал Андрею доложить об этом сменному инженеру.

Вскоре начался досрочный выпуск недоваренного металла. Сталь полилась в ковш. Василий как потерянный уставился в одну точку...

...По желобу бежали огненные хори. Потом все смешалось — и хори, и куры, и скулящая где-то в его темени Шутка. Отчетливо хрюкала увозимая в клетке белая свинья, и смеющиеся козы бородатые морды вместе со снопом искр показались из ковша...

Только бы не сойти ему с ума! Только бы устоять на ногах! На войне ему не было так страшно, как теперь.

Василий не мог поднять глаза на товарищей. Сталевар, имя которого на доске Почета. Сталевар, о котором так много писалось в газетах. Сталевар, от которого все еще ждали новых успехов... А он...

«Нужно сегодня же перерезать всех кур», — в душевном смятении решил он.

Ах, милый Василий Петрович, разве в них дело, дорогой друг?!

## XXXIX

Главный инженер завода сказал Василию Петровичу:

— Вам, товарищ Киреев, нужно пойти в отпуск. Печь должна стать на ремонт, а вы должны подумать о случившемся. Подумать, взвесить и понять. А потом поговорим капитальнее.

Василий на это сказал:

— Я готов ответить за все сейчас!

— Нет, ты не готов, Василий Петрович, — вмешался начальник мартеновского цеха. Он знал о жизни Василия больше, чем тот предполагал.

Да и он ли один знал? Знали многие, и в первую очередь близкие люди. Андрей Ласточкин, Юдин, Веснин. Знали, но почему-то молчали, а теперь спохватились.

Теперь всем стало понятно, что дело не в одной лишь бессонной ночи и не в хоре, которым объяснил свою неудачу Василий. Хорь был всего лишь последней гирькой, перевесившей чашу весов, колеблющихся между заводом и домом.

Старая ведьма взяла свою дань.

И как это случилось? Когда началось?

Суды-пересуды, ахи и охи, раскаяния и признания...

Так случается в жизни частенько. Коллектив мартеновского цеха Большого металлургического завода не исключение. Пока шатается человек — будто и не замечают. А упадет — начинается паника, заботы и аврал: спасите!

Тяжелая это была для Василия суббота, 2 июля 1960 года. Она была куда тяжелее того памятного воскресенья, когда Василий обнаружил в своем доме гниль.

И он согласился взять отпуск. Он был благодарен главному инженеру за то, что тот предложил самое мягкое и, может быть, самое тяжкое наказание остаться наедине с самим собой, поговорить со своей совестью.

Рано утром в воскресенье, когда все спали, когда Серафиме Григорьевне не нужно было готовить ранний завтрак для плотников,

Баранов и Киреев не сговариваясь проснулись, не сговариваясь, но ища друг друга, встретились на берегу мелеющего пруда.

Баранов начал первым:

— Уходишь ты от нас, Василий...

Василий сразу же насторожился:

— То есть как? От кого это «от нас»?

— Ты знаешь, кто мы.

— Куда же я уйду? Ты что, понимаешь... Куда?

— Не знаю. В малину ли, в смородину ли... К карпам или к козам... В царство старой ведьмы, в капиталистическом направлении.

— Ты говори, понимаешь, Аркадий, да думай.

Когда Василий волновался, на его лбу всегда проступал пот. Его лоб и теперь покрылся мелкими росяными капельками.

— Малина, что ли, капиталистическое направление? Или свиньи?

— Кур ему не хотелось называть. Он даже не мог вспоминать о них.

— Нужно взвешивать, понимаешь, слова до того, как они скажутся.

А Баранов и не думал оправдываться.

— Видишь ли, Василий, ни в чем не повинные смородина, малина или карпы растут по-разному. В одном случае они радуют глаз, заполняют досуг. В другом случае они наращивают социалистическое благополучие. Но иногда и кусты, и карпы, и поросята, и козлята растут во имя наживы, стяжательства... хаповства. Все дело в отношении к поросятам, карпам, смородине и ко всему окружающему, к окружающим тебя людям. Из этого отношения и складывается социалистическое, коммунистическое или ка-пи-та-лис-ти-че-ское сознание человека.

Василий возразил круто и решительно:

— Аркадий, я ведь в политическом отношении не окончательный, понимаешь, пень. Я отличаю все-таки свинарник в три свиньи от завода, принадлежащего миллионеру. Одно — сто корней смородины, другое — сто миллионов в банке. Разница!

— Никакой! Природа одна и та же. Послушай, уж если начали. Договорим уж до точки. Мы же не чужие люди с тобой...



— Я готов. Говори.

Баранов сел на осиновою чурку, валявшуюся подле прудика, затем продолжил:

— Вася!.. Ты только не сердись. Я ведь любя говорю. Хорошо подумавши говорю. Мне иногда твой участок, твоё хозяйство кажутся микро... в смысле микроскопической, маленькой, мельчайшей... капиталистической странёшкой... Со всеми её признаками, даже с колониальным захватцем в лице вот этого пригороженного незаконно прудика.

— Это уже интересно! — заметил Василий, усмехаясь.

— Интереснее будет дальше, Вася. Капитализм не бывает без эксплуатации человека человеком... Разве ты или, лучше скажем, твоя теща не эксплуатирует хоть в какой-то степени труд Прохора Кузьмича и его жены Марфы Егоровны? Или, ты думаешь, работа двух стариков на этих плантациях всего лишь некоторое вознаграждение за то, что они живут в твоей садовой будке? Василий, ты подумай до того, как начать спорить со мной. Я скажу больше... На этом участке поработается и Лидочка.

— Дочь? Отцом? Ну, знаешь, не будь бы ты мне...

— Погоди, Василий. Сердиться будешь потом. Мы сегодня или разойдемся, или пойдем друг друга. У Лиды десятичасовой рабочий день. Она работает даже в воскресные дни. Козы — на ней. Свиньи — на ней. Да еще всякие окучки, прополки... Посмотри мне в глаза, Василий!

Василий посмотрел в глаза Баранову и признался неопределенно:

— Да, это не кругло.

— А с Иваном кругло? Он-то вовсе ничем не пользуется в этом доме, если не считать, что ты ему иногда разрешаешь прокатиться на твоей машине. А сколько ему приходится ишачить после работы на заводе!

Разговор прервался.

— Он же делает это от души. Никто его не заставляет. Он же любит меня...

— Тем хуже. Серафима Григорьевна эксплуатирует и это святое чувство твоих детей.

Ожеганова, услышав свое имя, появилась на крыльце. Разговор прервался. Она пригласила их к завтраку.

XL

Воскресный завтрак, как никогда, был обилен, вкусен и — демократичен. Пригласили Копейкиных. Серафима Григорьевна чувствовала, что Баранов не уедет из этого дома просто так. И она всячески старалась хотя бы немного расположить его к себе. Даже раздобыла огромных ключевых раков и сварила их в молоке с пивом.

Размолвка Баранова и Василия требовала того или иного разрешения. Друзья пошли в березняк, чтобы им никто не мог помешать закончить разговор.

Баранов потерял словесную нить разговора, но не была потеряна его суть. Он стал говорить до того, как они вышли на полянку.

— Ну пусть твоя теща, ставшая рабой наживы, судорожно цепляется за каждую травинку, перегоняя каждый черенок смородины, каждый отпрыск крыжовника в деньги. Пусть цветы для нее цветут только деньгами и пахнут алчностью. Пусть. Горбатого исправляет только могила. Но ведь горбиться начал и ты...

— Я?! — воскликнул Василий.

— Да. Чем вызвана твоя охота на хоря? Охотничьей страстью или желанием весело провести ночь? Нет, она была вызвана чувством собственности. Желанием оградить свой курятник, свою курицу... Велика ли цена этой курице? Во что обошлась она твоему народу, твоей стране? Ты лучше знаешь, сколько стоят недоданные вчера твоему цеху триста пятьдесят тонн стали.

Василий молчал.

— И правильно делаешь, что молчишь. Тебе нечего возразить. Ты уже запутался в этих цепких мелкособственнических сетях. Ты уже тянешь назад свой цех, хотя этого тебе никто еще не сказал в глаза.

Баранов говорил громко, как однажды на фронте клеймил труса, притворившегося контуженным. Глаза Баранова жгли. Слова били. Больно. Безжалостно.

— Ваш главный инженер посоветовал тебе остаться один на один с самим собой. Остаться и подумать о случившемся. Но ты же ищешь виноватых в курятнике, а не в себе. Ведь не кто-то соорудил этот курятник, а ты. Ты погубил плавку не по чьей-то вине, а по своей. И тебя нужно было за это судить. Исключить из партии, если бы ты в ней состоял...

— Я всегда был с партией, — огрызнулся Василий, — и меня ничто не разъединяло с ней!

— А старая ведьма? — спросил Баранов. — Или тебе кажется, что эта твоя ферма украшает тебя?

— Да что ты понимаешь! — огрызнулся Василий. — Если уж на то пошло, не было такого постановления, которое запрещает строить, возводить, разводить, выращивать и все такое.

— А зачем же запрещать это все? — сказал Баранов. — Наоборот, нужно рекомендовать и грядки, и кур, и свинку, а если возможно, то и корову. Я за то, чтобы при рабочей семье было свое маленькое подсобное хозяйство. Я говорю — при. При семье, а не наоборот, как у вас, где вы все оказались при хозяйстве, а не оно при вас. Твоя жена, оказавшись при козьем пухе, бросила работу. Тебя хозяйство фактически увело с завода. Кому же подсобляет такого рода подсобное хозяйство? А ведь могло быть и у вас все нормально, как у людей. Нет, Василий, тебе нужно понять эти немаловажные тонкости, а не лезть в драку.

Помолчав, Василий вдруг поднял глаза на Баранова и признался:

— Да, я, кажется, Аркадий, маленько того...

— Маленько ли? — перебил его Баранов. — А не слишком ли? Вспомни то утро, когда ты бросился на десятилетних удильщиков. Как коршун. Как зверь...

— Ну, это уже перехлест, Аркадий. Ну зачем же, понимаешь, такие слова?

— Перехлест? Я никогда не забуду, как ты швырнул в них метровым колом. И мог поранить их, как ту же Шутку. Не ради ли счастливой жизни и этих мальчиков ты воевал, умирал, истекая кровью на минном поле? Ведь не за свой же пруд с карпами сражался ты в Отечественную войну?

— Само собой, — тихо отозвался Василий.

— А теперь ты пожалел для них карпа. Что произошло? Что? Спроси себя: какие чувства в то утро руководили тобой?

— За этот поступок, Аркадий, я не уважаю себя. Это было позорное утро! — подтвердил Василий, все еще не поднимая головы. — Позорное утро!

— Одно ли оно было позорным? Не позорными ли были все дни и годы компромиссов с Серафимой Григорьевной? Ты вспомни белую свинью. Сметанин-то ведь пощадил ради тебя твою тещу. Она знала, что покупала. Для нее уворовали в колхозе «валютный» приплод. Сметанин довольно ясно сказал об этом. И ты в глубине своей души знаешь, что такая покупка плохо пахнет. Разве это не компромисс с подлостью? А знакомство с Ключом? Разве не компромисс — твои закрытые глаза на торговлю смородиновыми кустиками, племенными поросятами, козлятами? И даже карпами...

— Карпами? — вскипел Василий Петрович. — Этого не может быть! Я их разводил для души, а не для продажи... Я вообще ничего не собирался заводить для продажи! А потом, понимаешь, пошло и пошло...

— Я понимаю, — сказал, грустно улыбаясь, Баранов. — Так можно, не собираясь, не желая, развести белых крыс... Серафима Григорьевна давно мечтает о них. Фенечка, я думаю, не клеветает на нее. Тебе это не трудно проверить. Я бы сказал тебе больше, да не хочу перешагивать даже в таком важном споре семейных граней. Я мог бы вывести тебя из этого болота. Вот так взять за руку и увести без захода на дачу. У меня достаточно сил сделать это. Но я хочу, чтобы ты сам опомнился. Поэтому я, кажется, тоже, как и ваш главный инженер, посоветую тебе остаться наедине со своей совестью. Остаться и спросить себя — с кем ты? Во имя чего ты живешь? Какие отношения у тебя с твоим государством, с твоим рабочим классом? И, наконец, со мной. Мои отношения к тебе ясны. Я не отказываю тебе в моей дружбе. На этом и расстанемся, Василий Петрович Киреев. Мы, кажется, в основном выяснили все.

Сказав так, Аркадий Михайлович поднялся и направился к Садовому городку.

Василий остался на полянке один.

## XLI

Баранов уехал, а голос его звучал. Звучал не только где-то там, внутри Василия, а всюду. Теперь все окружающее упрекало Василия.

Баранов сидел то на крылечке, то на осиновом обрубке у пруда, то ходил по участку. А ночью Василию чудилось, что скрипят половицы и слышатся его шаги. Казалось, что Аркадий сбежит сверху по лестнице, улыбнется, как будто ничего не произошло...

Нет, произошло. Пусть Василий еще не осознал в полную силу услышанное, но, видимо, теперь уже надо не так много времени, чтобы понять куда больше, чем было сказано Аркадием.

Еще несколько дней назад Баранов существовал для Василия сам по себе. И в последний раз на поляне он говорил от своего имени. А теперь оказалось, что Баранов разговаривал от имени многих. Может быть, от имени всех. И Юдина, и Веснина, и подручного Андрея. Молчаливый сын Ваня тоже, кажется, разговаривал со своим отцом голосом Баранова. И Лидочка... Милая Лидочка, не упрекая ни в чем своего отца, тоже ушла от него.

Рано зацветшие осенние золотые шары и те, шепчась как живые, словно осуждали Василия. Томящиеся в мелкой нагретой воде пруда карпы, беззвучно открывая рты, тоже будто жаловались: «Зачем ты нас заставил жить в этой стяжательской луже?» Конечно, это его воображение, но...

Нужно было бы нанять пожарную машину, чтобы перекачать из речки в пруд кубов тридцать — сорок воды. Но до карпов ли теперь Василию, когда самому не хватает воздуха и визг поросят, бляение коз раздражают его... А тут все еще подскуливает Шутка. Не ест. Изредка лакает воду. Феня по-прежнему делает ей уколы и перевязки. Ханжа теща положила в собачью конуру свою пуховую подушечку-думку и подкармливает Шутку сливками.

— Лишь бы только выздоровела милая Шуточка-прибауточка! Какая она была ласковенькая да веселенькая!

Феня молчит. Феня не подымает своих синих глаз на Серафиму. А Серафиме нестерпимо хочется с ней поговорить. Хочется проверить радостный для ее ушей слух, принесенный Панфиловной.

Говорят, сегодня утром Алина приехала на дачу к Ветошкину с двумя артистами из городского цирка. Один — гиревик, другой — борец. Алина объявила о своем разрыве с Павлом Павловичем.

Павел Павлович умолял ее. Валялся в ногах. Рыдал. Угрожал. Проклинал и снова умолял. «Комсомолисты», как их называла Панфиловна, попросили его «не шуметь и не распускать нюни», а посмотреть, не взяла ли Алина лишнее, а потом расписаться в том, что ею все было «взядено по его личной просьбе и он к ней никаких вымогательств не имеет».

Павел Павлович умолял ее. Валялся в ногах. Рыдал. Угрожал. Проклинал и снова умолял. «Комсомолисты», как их называла Панфиловна, попросили его «не шуметь и не распускать нюни», а посмотреть, не взяла ли Алина лишнее, а потом расписаться в том, что ею все было «взядено по его личной просьбе и он к ней никаких вымогательств не имеет».

Каким бы сенсационным ни было это известие, не оно волновало Серафиму Григорьевну, а его хвостик. Хвостик этого слуха заключался в том, что красавица перепорхнула к Баранову, который так неожиданно уехал, не сказавшись куда. Именно этого подтверждения и хотелось Ожегановой. Именно это подтверждение могло поколебать Василия, который заметно исхудал и ходит, будто вынашивая в себе что-то недоброе.

Но Феня ничего не ответила. Не ответила даже на далекие, не имеющие отношения к уходу Алины вопросы.

Однако жаждущему любопытству Серафимы Григорьевны пришлось недолго ждать желанного напитка. Появился Ветошкин, растерянный, постаревший и подавленный.

— Значит, правда все это, Павел Павлович? — спросила она приятно, как никогда, гостя, усаживая его на садовую скамью под яблоней.

— Да! Да! Да!.. — еле выдохнул он.

— А с кем?

— С вашим гостем. С моим фронтовым товарищем... Боже, боже! Мы вместе сражались. Вместе окропляли родную землю нашей кровью, — стал он говорить, как обманутый простак в плохом театре. — И вдруг...

— Ты слышишь, Василий? — обратилась Серафима Григорьевна к присевшему подле конуры Шутки Василию.

— Нет, я не слышу. Я не хочу слышать, — ответил он довольно грубо.

Лицо Павла Павловича изобразило горчайшую усмешку страдающего праведника.

— Как можно требовать, чтобы Василий Петрович дурно сказал о своем друге? Я понимаю, принимаю это и не виню... Дружба — это такое высокое...

Но Василий не стал дослушивать, что такое дружба, и ушел в домик Прохора Кузьмича. У того всегда найдется добрый совет и сочувствие.

Мечь, озлобление, лютая ненависть к Баранову заставили зашевелиться изощренные мозги Серафимы Григорьевны.

— Конечно, я большим умом похвастать не могу, — начала она мягко стлать, — но ведь на ясное дело, на чистую правду и малого ума достаточно. Я бы на вашем месте обзвонила все гостиницы. А их всего-то четыре. Узнала бы, где и в каком номере проживает Аркадий Михайлович Баранов, а потом бы с понатыми к нему в номер. Если она с циркачами приезжала, то у вас-то повыше чины найдутся. Можно и с начальником милиции... И — пики-kozyри!

Ветошкин ухватился за этот совет, но тут же оставил его. О чем он будет говорить с Барановым? Какие улики? И если действительно причина ее ухода Баранов, то Алина не так глупа, чтобы поселиться с ним до развода.

Посидев, повздыхав, Ветошкин отправился к себе на дачу.

Потеря Алины для Ветошкина — серьезная утрата. Серьезная, но главная ли? А что, если Алина вздумает наказать его за хитросплетенный обман накануне намечавшейся поездки в заграничное турне? А что, если крысиное предприятие Павла Павловича станет достоянием фельетониста?

Не забежать ли вперед, не предложить ли ей отступного тысяч этак...

Нет. Такой маневр может насторожить Алину. Может подсказать ей и то, о чем она и не думает. Да и едва ли она что-то возьмет.

Ф-фу! Как омерзительно складывается жизнь Павла Павловича! Какая зловещая тишина у него на даче! Неумолчные канарейки и те стихли, как перед грозой...

XLII

Теперь все раздражало Василия Петровича. Не находя себе места, он пришел к Прохору Кузьмичу, чтобы продолжить спор с отсутствующим Аркадием Михайловичем. Василию нужен был этот спор. Ему хотелось обелить себя и хоть в чем-то чувствовать свою правоту.

Не мог Василий взять и сразу признать правду Аркадия.

И он спросил:

— Так что же, Прохор Кузьмич, значит, душить всех поросят, резать всех коз частного пользования, выдирать смородину?

Василий выпил совсем немного. Но жара, пустой желудок и усталость расслабили его.

— Зачем же, Васенька, через край-то? Поросенок поросенку рознь... Агафью из прокатного взять. Жалованьишко у нее сам знаешь какое. А детей двое. И в ее поросеночке никакого капитализма нет, а чистое прибавочное мясо к ее питанию.

— Но у нее же и коза...

— А как ей без козы, когда корм свой? Дети же. Не на продажу же, увещевал старик Копейкин.

— А дом? Свой собственный дом... Тоже капиталистическая отрыжка? Да?.. Но тогда половину Донецкого бассейна, половину Урала нужно обвинить в отрыжке и половину рабочего класса назвать перерожденцами...

Копейкин и не предполагал, что ему придется растолковывать Василию самое простое.

— Васенька, ну зачем же все мешать в одном корыте? Ну вот, скажем, у меня тоже свой дом на Старогуляевской улице. Это моя квартира. Я его не сдаю, прибýtка от него не имею... Это — одно... А скажем, вот этот дом, в котором я теперь живу, это — другое дело. Не прими, голубок, за обиду, а за наглядный пример... И если, скажем, в Донецком, или Кузнецком, или в каком другом бассейне



рабочие люди живут в своих домах, так они для них, как, скажем, калоши или пальто, житейская постройка, а не выжигательство в корыстных целях. Или взять машину — «Волгу» там или «Москвич». Одни на них ездят, а другие возят... Вот ведь о чем речь. Сережа, мальчонок, Агафьин сын, которого ты чуть колом с забора не сбил, тоже двух крыс держит и двух морских свинок. У него это радость, а у Ветошкина — мироедство.

— Значит, вы с Аркадием все понимаете и во всем разбираетесь? А я, стало быть, нет? Так и запишем... Где у тебя топор? — спросил Василий.

— Зачем это тебе вдруг понадобился топор? — недоумевал Копейкин.

— Разобраться, понимаешь, немножко хочу в сущности микроскопического капитализма... Вот он! — обрадовался Василий, увидев под лавкой топор.

— Ты что же это, Васенька, задумал?

— Не бойся, Прохор Кузьмич... Не бойся...

Василий с топором в руках направился в вольер курятника. Схватив там первую попавшуюся курицу, он отрубил ей голову. На камне. То же он сделал со второй, выбросив ее за сетку вольера. Птицы, почуяв неладное, подняли дикое кудахтанье. Запах крови, подскакивающие в агонии обезглавленные куры заставили живых стремительно перепархивать высокую изгородь вольера. Такой прыти, такого лёта не бывало и у их диких предков.

Когда Василий отрубал голову петуху, прибежали Серафима Григорьевна и Ангелина.

— В своем ли ты уме? В своем ли? — кричала Серафима. — Отдай топор! Отдай топор! — просила она, боясь приблизиться к Василию.

Зато Ангелина вошла смело за сетку вольера и сказала:

— Милый мой, давай их прикончим завтра. Организованно.

Зато Ангелина вошла смело за сетку вольера и сказала:

— Милый мой, давай их прикончим завтра. Организованно.

Василий отдал топор Копейкину и примирительно сказал Ангелине:

— Я всегда знал, что ты любишь и понимаешь меня. Когда я вижу курицу, у меня плачет свод и падают из него кирпичи... Но лучше бы их, проклятых, прирезать сегодня!

Ангелина увела мужа в дом. Серафима, не на шутку струхнув, старалась не попадаться на глаза Василию.

— Что с ним? Сколько выпили? — стала наступать Серафима на Копейкина.

А тот, почему-то вдруг тоже осмелев, сказал:

— Литру!

На столе между тем стояла единственная недопитая четвертинка клюквенной настойки.

— Никогда я его таким не видывала. Неужели обвал свода на него так подействовал? — хотела она выяснить причину буйства Василия.

Копейкин мудрил:

— Что считать сводом? Если то, на чем волосы растут и картуз носят, так, пожалуй, этот свод сильно у него нагрет. И тебе бы, Григорьевна, не помешало бы и коз, это самое... того...

Серафима оглянулась на дом, потом сказала:

— Не подрубал бы ты сук, на котором сидишь, Прохор Кузьмич.

А он не будь плох:

— Не о сучьях теперь думать надо, а о дереве, на котором они растут. А я ни на чем не сажу. Я птица вольная! — Говоря так, Копейкин взмахнул руками, как крыльями. — Порх — и нет меня тут...

— Так что же ты... и ты улететь хочешь?

— Курей жалко, Григорьевна. Нестись они без меня хуже будут!

Серафима Григорьевна уставилась на Копейкина, как щука на ерша. И рада бы проглотить, да колючки страшат.

— Сегодня отдам я тебе яичный должок, Прохор Кузьмич. Не зажилю.

— Ну так ведь, — ответил Копейкин, — разве за тобой пропадет? Подожду.

Скрежеща зубами, злясь на уничтожающее ее бессилие, Серафима Григорьевна отправилась в свинарник. В доме, пока не угомонится Василий, показываться не следовало...

#### XLIII

Жара не спадала, и вечером от нее изнывало все живое. Раскаленный диск солнца сел в марево над лесом. Земля на грядках и дорожках испещрилась мелкими трещинками.

Всплыли еще три издыхающих карпа. Шутка поминутно пила.

Василий Петрович лежал рядом с Линой на широкой кровати. Он смотрел в потолок, а она гладила его мягкие волосы, в которых появилась еще не замеченная Василием седая прядь.

Ангелина понимала, может быть, даже лучше, чем сам Василий, что в его и в ее жизни произошло гораздо большее, чем в мартеновской печи и, уж конечно, в курятнике.

Дышалось тяжело. Было жарко и при открытых окнах.

Но вот качнулась тюлевая занавеска. Дохнул ветерок. Пахнуло свежестью. Послышался далекий глухой отзвук грома.

— Наконец-то...

— Кажется, дождались, Васенька.

Ветер дунул сильнее и уронил герань в глиняном горшке.

— Черт с ней, — сказал Василий. — Закрой дверь, чтобы не было сквозняка.

Гром прогремел ближе, и стал накрапывать дождь. Вскоре он застучал по железной крыше дома и перешел в ливень с громовыми раскатами, будто палили из многих крупнокалиберных орудий.

Сразу посвежело. Будь у Василия самочувствие лучше, он выбежал бы из дому поплясать под дождем, как это бывало и в детстве, и в недавние годы. Дождевой душ куда лучше купания. Нет на свете чище, свежее воды, чем дождевая.

Василий, вспомнив, что нужно долить аккумулятор, попросил Лину поставить какую-нибудь стеклянную посудину возле крыльца, но не

у стока. И Лина выбежала в рубашке, поставила под дождь большую миску из нового сервиза.

Вернулась она под крылышко мужа мокрой. От нее пахло свежестью, здоровьем и молодостью. Сверкания молнии так чудесно и так сине освещали ее в рубашке, прилипшей к телу молодой женщины.

Василию хотелось, чтобы молнии сверкали еще и еще. И они сверкали без устали. Им был благодарен не один Василий, но и Лина. Какому человеку, особенно женщине, может не нравиться, когда ею любят. Зачем притворяться? Так можно дойти до утверждения, что на свете существуют только одни производственные показатели!

Ливень сменился тихим, затяжным дождичком, который, может быть, будет идти до утра, не барабана по крыше, а усыпляя своим шелестом Василия и притулившуюся к нему Лину. Они уже задремали, как вдруг послышалось:

«Кап-п! Кап-п! Кап-п!..»

Василий открыл глаза:

— Что это?

Лина встrepенулась. Прислушалась и, зевая, сказала:

— Это на чердаке. Протекает крыша...

— Лина, — обратился к ней опять Василий, — ты, понимаешь, сказала так, будто в этом нет ничего особенного... будто крыша протекает не у нас, а где-то, понимаешь, за тридевять земель.

— Ну что ты опять, Василий? Ну что тут такого?.. Замажем завтра — и все.

— «Замажем завтра — и все»... Как это легко и просто! А как я завтра узнаю, где, в каком месте, протекает крыша? Ведь все высохнет, и вода, которая натечет, уйдет в засыпку. В накат. Тебе, Ангелина, мало, что ли, было домовой губки в полу? Ты хочешь еще и на чердаке? Где у тебя лежат свечи?

— Ну что ты, Васенька... Ночью на чердак!

— Где свечи? — повторил Василий так, что уговаривать его уже было бесполезно.

— Они под полом. Под лестницей. Туда я боюсь лезть. Там мыши.

Василий встал. Сунул ноги в шлепанцы, накинул, чтобы не ободрататься на чердаке, халат Лины и отправился в подпол. Найдя свечи, он взял одну из них и полез на чердак, в боковой открылок над спальней, рядом со светелкой, где жил Аркадий.

На столе он заметил оставленные Аркадием газеты и журналы, а у стола его ночные туфли.

Очутившись в открылке чердака, Василий стал искать течь в крыше. Вялое пламя свечи не позволяло ему заметить хотя бы одну каплю. Дождь между тем шел, и течь не могла прекратиться. Зато Василий увидел другое. Куда более важное и существенное.

В живом свете костра, камина, свечи всегда есть что-то волшебное. Необычное. И Василий увидел себя в каком-то несуществующем зеркале. Этого нельзя понять при отсутствии воображения. Но порою случается так, что человек, ни в чем не отражаясь, видит свое отражение отчетливее и подробнее, чем в любом из зеркал.

Так произошло и на этот раз. Василий увидел себя в женском пестром халате, из-под которого торчали его голые ноги в шлепанцах. Он увидел себя скаредным и маленьким человечком, напуганным дождевыми каплями. Человечком, зависящим от этих капель и страшщимся их. Это был не он, а кто-то другой, явно начавший горбиться.

Василий распрямылся. Прислушался к дождю. Постоял и снова увидел жалкого горбатого карлика.

«Василий, — спросил он себя, — да ты ли это? Что случилось с тобой, свободный человек? Куда делся твой рост, твоя широта, твой большой замах? Васька, да ты ли это?»

Тут он почувствовал на своем лице паутину. Быстро и гадливо смахнув ее, он увидел сочащиеся через стыки листов крыши оранжевые капли. В них отражалось пламя свечи.

Василий отвернулся. Ему не захотелось запоминать место течи.

«Капай, проклятая... Мне-то что...»

Кто знал, что эти капли, эта течь окажутся в изломе течения жизни Василия... Прошло всего лишь несколько минут, и, кажется, ничего

особенного не случилось в открылке чердака, но Василий вернулся к Лине другим человеком. Он возненавидел свой дом.

— Ну как, — спросила ожидавшая возвращения мужа Лина, — ты нашел, где протекает крыша?

— Это теперь, понимаешь, Линок, не имеет значения, — ответил он как-то очень звонко. — Лина, мы должны продать дом. Продать его к семи чертям, со всеми его пауками, паутиной!..

— А сами куда? Где мы будем жить? — спросила, садясь на кровати, испуганная Ангелина.

— Не знаю. Хоть под забором. Отдадим деньги в завком. В дирекцию, в кооператив... Хоть комнату да дадут, а потом увидим. Я продам его. Я расстанусь с ним... с моим кровопийцем и погубителем...

Ангелина тихо заплакала...

Он повернулся к ней спиной. Слезы ее на этот раз не трогали Василия.

#### XLIV

Сметанину не сиделось дома и вечером. Неуемная тяга к деятельности заставила его побывать на выпасе, проверить, как чувствует себя на озере водоплавающая, зайти к возвращенным белым свиноматкам... И когда все это было сделано, он вспомнил о разговоре с Ветошкиным, который откладывался со дня на день как не первостепенный. А теперь он подоспел в самый раз.

И вот Сметанин появился в благоухающем саду. Серый дог с лаем бросился на незнакомца, и тот вразумительно сказал собаке:

— Буде! — затем крикнул: — Аграфена!

Умная собака, увидев появившуюся Феню, пошла в тень. Вместе с Феней вышел и Павел Павлович.

— Чем имею честь быть полезен?

— Я Сметанин, из «Красных зорь».

Этих слов было достаточно для беспокойства Павла Павловича. Он уже знал об уходе белой свиньи у Серафимы Григорьевны, а также

слышал, что Сметанин успешно возвращает своих колхозников, поразбредшихся за последние годы.

— Но я не к вам, прошу покорно, а к Аграфене Ивановне. — Сказав так, Сметанин перевел взгляд на Феню. — В начале того месяца мы ожидаем с флота Леонида Пастухова, и я хочу, чтоб он тебя встретил без этих холуйских кружев.

Феня, слегка покраснев, опустила голову. В самом деле, в ее жизни многое изменилось с того дня, когда молодая свинарка, провожая на флот Леонида Пастухова, обещала ему достойно трудиться в родном колхозе. А теперь?..

Пусть были у нее причины для ухода из колхозного свинарника, но все же это не оправдание.

Была и ее вина. Она польстилась на легкую, денежную работенку.

После сказанных Сметаниным резких и прямых слов она окончательно поняла, насколько унижительна эта работа у Ветошкина.

— Позвольте, — вмешался Ветошкин в разговор Сметанина с Феней, — как вас прикажете...

— Вы человек образованный, гражданин Ветошкин, и мне, мужику, не пристало вас учить. А наоборот, я должен учиться у вас. Вы, можно сказать, перебили наш разговор.

— Прошу прощения, товарищ Сметанин.

— Пожалуйста, — ответил Сметанин и продолжил разговор с Феней: — Так ты, Аграфена Ивановна, теперь же, при мне, сделаешь устное заявление своему хозяину о расчете. А через то воскресенье, ровно в двенадцать ноль-ноль, придет за тобой полуторка. Тихо, гражданин Ветошкин! Дайте ей сделать заявление...

— Но ведь он же не пишет мне, — сказала Феня.

— Это ты не пишешь ему...

— Я не пишу? Спросите Павла Павловича, я всегда через него посылаю письма, чтобы он в городской почтовый ящик их кинул.

— Значит, Павел Павлович кидает их не в тот ящик... Ну да на данном этапе это, можно сказать, не так важно. Пастухову я

отписал, что ты девушка все еще самостоятельная, вернулась в колхоз заведовать племенным питомником белых свиней и что ему, Леониду Пастухову, запланирован пятистенный дом на будущую весну, а место второго механика всегда было за ним. — Как бы в подкрепление сказанного Сметанин ударил кнутовищем по голенищу и, повернувшись к Ветошкину, спросил: — У вас какие вопросы?

— Это невозможно. Я не могу отпустить Фенечку. Да и она, как вы видите, не хочет возвращаться. Не так ли, Феня?

Феня ничего не ответила.

— Ну что же ты молчишь, Фенечка?

— Я заявляю о расчете... Как положено, за две недели вперед.

— И то, — продолжил Сметанин, — только потому, чтобы дать вам возможность не остаться совсем одному... Как-никак хозяйство. Не покажете ли мне, прошу покорно, ваших крысок?

— Зачем?

— Есть у меня одно валютное соображение.

— Какое, какое?..

— Крысиный белый мех нынче на вывоз берут.

— Да? — заинтересовался Ветошкин. — Для каких же целей?

— Для «горносталевых мантий»... «Горносталя» повсюду без малого выбили. У нас он тоже, можно сказать, почти что заповедный зверь... А царям и царицам, королям и королевам различных зарубежных держав мантии нужны.

— Но позвольте, товарищ Сметанин, у крысы значительно короче волосяной покров, нежели у горностая...

— Это верно. Но если ее кормить бобовой смесью со жмыхами подсолнечника и держать на улице, волос у нее густеет и делается длиннее. Может, уступите клеток двадцать для пробы? Плачу кормом. Прямой расчет.

Ветошкин задумался. Его мысли снова вернулись к уходу Фени. Подумавши так минуту-другую, он сказал:



— Я могу вам презентовать... то есть подарить отборных животных, если вы не будете настаивать, чтобы Фенечка вернулась в колхоз...

Сметанин опять хлопнул кнутовищем по сапогу:

— Наоборот. Я хочу с вас взять слово, что вы не будете колебать ее, можно сказать, неустойчивое сознание. И если вы этого слова мне дать не захотите, то Аграфена Ивановна может вас покинуть сегодня же. Учтите. Общий привет!

Сметанин откланялся Ветошкину и велел Фене проводить его до ворот.

XLV

Павел Павлович Ветошкин принадлежал к старому, хотя и захудалому, но столбовому дворянскому роду. Ветошкин Павел Сергеевич, отец Павла Павловича, перешел на сторону революции в 1917 году. Он сражался с Юденичем, воевал с Деникиным и закончил свою службу главой факультета одной из военных академий, верным сыном партии.

Павел Павлович не повторил отца. Молодой юнкер Ветошкин, сражаясь против революции, а следовательно, и против своего отца, попал в плен и был помилован. Проболтавшись несколько лет без определенных занятий, молодой Ветошкин избрал ветеринарное поприще. Он с детства любил собак, лошадей, разводил кроликов. Ветеринаром он был так себе, но между тем нашел какое-то новое лекарство против сапа. В войну, находясь главным образом в глубоком тылу, он клялся умереть коммунистом, но эта клятва, как и вся его жизнь, стоила не очень много.

Уход Алины, как уже было сказано, был для него страшнейшим потрясением, но Алина не потрясла «экономики» его предприятия. Другое дело — Феня...

На Фене держалось все.

Визит Сметанина едва не довел Ветошкина до инфаркта. Почва уходила из-под ног. Ему теперь ничего не оставалось, как умолять Феню. Он упал перед нею на колени. Это у него получалось лучше всего, начиная со дня его плена. Он падал на колени перед комиссаром части... Потом он стоял на коленях перед отцом. Потом — перед полевым судом, испрашивая не отправлять его за хищения в штрафной батальон...

Предпоследний раз он стоял на коленях перед Алиной. Сегодня — перед Фенечкой.

Он обещал утроить ее жалованье. Увеличить процент с каждой проданной головы. Обещал нанять помощницу, а если она захочет — помощника.

И, наконец, он предлагал ей... руку и сердце, цинично убеждая ее:

— Не заживусь же я, моя милая. И все будет твоим. У меня нет никого родных... тебе не так долго мучиться...

— Хотя бы даже месяц, — отрезала Феня, — и то не буду!

Характер Фени был известен Ветошкину.

Предложение следовало за предложением. Но ничего не изменило решения Фени. Она потребовала немедленный расчет, обещая прожить положенные две недели со дня заявления об уходе.

Все это стало известно Серафиме Григорьевне. И она появилась у Ветошкина. Появилась в шуршащем сиреновом платье, в кружевной косынке и в туфлях на тонких высоких каблуках.

Лицо Серафимы Григорьевны было густо напудрено, волосы подзавиты.

— Что это вы такая модная? — спросил ее, встречая в саду, Ветошкин. Именинница, что ли?

— Почти, — ответила Серафима, усаживаясь против Павла Павловича. Коли вы такой фронт, так ведь я-то как-никак моложе вас на целых шестнадцать лет и семь месяцев.

— Смотрите, какая точность.

Серафима хихикнула. И довольно заливисто.

— Счета не бывает без расчета! — попыталась она на что-то намекнуть, но этого не получилось, и она прямо спросила: — Уходит Фенька?

— Да... А что?

— Ничего. Просто так спросила. На всякий случай. Может, вам планы какие-то в голову придут... Человека нынче беда как трудно достать. Особенно у которого язык за зубами умеет держаться... А?

Теперь Ветошкин понял, куда клонится речь, но не поверил этому. И, желая убедиться, прав ли он в своей догадке, спросил:

— Может, ликерчику?

— А почему бы и нет? Всякая дама любит, когда за нею ухаживают.

Это было уже слишком, но ухаживать приходилось. Портить отношения с Серафимой сейчас было невозможно. Она же поставщик кормов, акционер своего рода...

Акционер? Какое чудесное слово ему пришло на ум! Может быть, взять ее в пай? Тогда он будет спокоен за все.

И когда они выпили по одной, по другой, сумерничая в затененной деревьями столовой, Ветошкин намекнул ей на артельное крысоводство. Серафима, увидев, что старый плут на самом деле оказался на мели, ответила намеком на намек, пересев поближе к нему.

Серафима, очутившись подле Ветошкина, пощекотала, а потом почесала легонечко ему за ухом и сказала:

— В «принципе» я за... А об остальном надо подумать...

Изрекши такое, она потрепала Павла Павловича по дряблой щеке, и тот задержал ее руку.

— Ой! — воскликнула Серафима тонюсеньким, совсем молодым голосом. Никак уже стемнело!

— Да куда же вы? — стал удерживать ее Ветошкин. — Задержитесь хотя бы на полчаса. Ну задержитесь же, ожегательнейшая...

Ожеганова устранилась от объятий Ветошкина. Во всех иных случаях она была бы счастлива его вниманием, которого так долго добивалась. Но сейчас он тонул. И она могла спасти его. Поэтому побоку все... До улыбок ли, до любезничанья ли ей, не знающей сытости жабе, когда в болоте завязла такая пожива.

— Вы бы не с этого начинали, Павел Павлович, а с дела. Нам ли с вами в прятки-то играть... да еще в темноте, — отрубала слово за словом Серафима. — Завтра светлее будет и в голове, и на улице. А пока поцелуй в задаток. Она ему протянула свою сухую руку. — В этой руке и счастье твое, и гибель.

Ветошкин испуганно поцеловал руку Серафимы.

— То-то же, — тихо сказала она, сверкнув зеленым, кошачьим глазом, и направилась к воротам.

Ветошкин, оставшись один, задумался.

XLVI

Радужные надежды, появившиеся у Серафимы Григорьевны после встречи с Ветошкиным, затемнились печальным известием.

Василий сказал теще твердо и определенно:

— Я должен продать этот двухэтажный катафалк под железной крышей.

И мало того — стали приходиться покупатели. Панфиловна, не теряя случая, в надежде получить куш от продажи дачи, подсылала то одного, то другого денежного человека.

Не дремал и Кузьма Ключ. Пусть он появляется на этих страницах лицом второстепенным, но в его руках многие нити. Он знает, у кого сколько, с кем можно иметь дело, кого надо опасаться. Прикинув, подсчитав объем «операции», он подобрал надежного во всех отношениях покупателя и ожидал дня, когда ему следует появиться в доме Киреева. Ослепить ценой. Убедить гарантиями. Стать спасителем и взять положенное с продающего и покупающего.

Мелкая хищница Панфиловна была не страшна Ключу. Она даже была полезной, приводя несостоятельных покупателей. Ожеганова отказывала им сразу же, едва они переступали порог:

— Это еще что? Откуда вы взяли?

Но слух шел. Дошел и до дирекции завода. Там сказали Василию примерно так:

— Завод не может купить недвижимое у частного лица. Но дирекция и завком хотят помочь тебе, Василий Петрович. Отдай дачу завкому, оформи дарственную запись. А ты переедешь в новую большую, благоустроенную квартиру... Ведь именно ее-то тебе и надо теперь.

Предлагалось то, о чем не мог и мечтать Василий. Дачу расширят. Она станет детским садом. Он всегда сможет приезжать сюда, если вздумает полюбоваться творением своих рук, — и точка. В ней не будет жить какой-то частник-жмот, который оскорбительно станет

доить посаженные Василием кусты, деревья. Это самый лучший выход. Но...

Ветошкин прав. «Многое не так просто на белом свете». И, уж конечно, не проста Серафима. Она быстрехонько связалась с юристами, нотариусом, и они в один голос заявили, что продажа строения или передача его кому бы то ни было по дарственной записи может быть оформлена только при согласии жены владельца...

Аг-га-а, Василий Петрович! Попробуй переступи этот закон!

Василий был уведомлен об этом. Василий спросил жену:

— Ты, конечно, я думаю, не будешь противиться передаче дома завкому?

Ангелина ответила слезами. Далее спрашивать ее было не о чем. И Василий Петрович больше не разговаривал на эту тему. Он вообще почти не говорил дома за последние дни. С каждым часом ему становилось понятнее, что нужно делать и как нужно поступить.

Аг-га-а, Василий Петрович! Попробуй переступи этот закон!

Василий был уведомлен об этом. Василий спросил жену:

— Ты, конечно, я думаю, не будешь противиться передаче дома завкому?

Ангелина ответила слезами. Далее спрашивать ее было не о чем. И Василий Петрович больше не разговаривал на эту тему. Он вообще почти не говорил дома за последние дни. С каждым часом ему становилось понятнее, что нужно делать и как нужно поступить.

С ним здесь было в разладе все, и только одноглазая собачонка Шутка соглашалась на все. Хоть в огонь, хоть в воду.

Осуществлять намеченное Василий начал с пруда. Он велел приехать вечером сыну Ивану, затем пригласил соседского парня и, наконец, позвал Прохора Кузьмича Копейкина. Когда они собрались у пруда, Василий сказал:

— Сейчас мы будем переносить изгородь на старое место. По эту сторону пруда, чтобы восстановить законные границы участка.

Никто не задал ни одного вопроса. Видимо, всем было понятно, что это означает.

Когда изгородь, расчлененная на звенья, была перенесена наполовину, из дома выбежала Серафима Григорьевна:

— Это что же такое, Василий Петрович?

— Это возвращение государству государственных владений, что, понимаете, может производиться без оформления у нотариуса и согласия супруги...

После того как пруд оказался за изгородью, Василий увидел в кустах и знакомых мальчишек.

— Идите сюда... — позвал он. — Не бойтесь!

Он произнес эти слова до того задушевно, что подошли сразу три мальчика.

— Теперь можете ловить рыбу сколько вздумается. Но если вы умные и честные хозяева, снимайте с крючка молодых карпиков и пускайте обратно.

— Хорошо, — сказал один из мальчишек. Это был сын той самой Агафьи из прокатного цеха, о которой говорил Копейкин.

Но сказанного Василию показалось мало. Василий хотел и не находил слов, чтобы объяснить ребятам, почему в то воскресное утро бросился на них. Пораздумав, он сказал:

— А тогда я был пьян, ребята. Сильно меня напоила одна старая ведьма страшным зельем. А теперь я пить бросил. Навсегда. Будем знакомы.

Василий каждому из мальчишек пожал руку. А старик Копейкин, прислонившись к сосне, смотрел и слушал, — как хорошо отозвалась теперь его сказка!

Многое не так просто на белом свете...

— Что же дальше ты будешь делать, хозяин? — спросила Василия Серафима. — Какой высший суд будешь вершить в своем владении?

Василий ответил на это без улыбки, но и без злобы:

— Сегодня вечером будет продолжаться распад колониальной системы. Африку отдам африканцам... Садовый домик

принадлежал мне до супружеского союза с Анжелиной Николаевной. Не так ли?

Вечером был отгорожен садовый участок, где стоял первый домик, с которого все и началось. Когда это было сделано, Василий сказал Прохору Кузьмичу с тем же юморком, без улыбки:

— Это моя единственная недвижимая частная, понимаешь, собственность, принадлежащая мне одному, по всем законам. Будешь жить в этой моей частной собственности. Будешь мне вносить, понимаешь, для проформы положенные по незыблемым коммунальным ставкам рубли и копейки. А в остальном ты никому и ничем не обязан.

Он произносил все это как шутейший манифест раскрепостителя. Но шутейность вдруг оставила Василия, и он, припав к груди Копейкина, стал просить его дрожащим голосом:

— Прости меня, Прохор Кузьмич, за мою слепоту и за все...

— Да полно тебе, Васятка! — испугался Копейкин. — Какие между нами могут быть счеты? Я ведь в охотку работал у тебя! Ради природы!

Многое не так просто на белом свете...

Не простым было и расставание Василия с домом, с садом. Он любил его, и любил не как собственник, а как садовник, взрастивший его. Любил дом и как строитель, как труженик, заставивший камень и дерево стать разумным строением.

Это все нужно различать и не валить в одну кучу. Но вали не вали, а расставаться нужно. И не половинчато, а с полным отрывом от сердца. И может быть, вместе с большой, неслыханно большой любовью к Ангелине.

Многое не так просто на белом свете.

XLVII

Когда завечерело, Василий приступил к обходу своего участка. Он коснулся каждой яблони, каждого куста, словно прощаясь с ними за руку. Особенно долго он задержался у ряда любимых яблонь вдоль изгороди, сорт которых назывался «бабушкины».

С теми кустами крыжовника, которые были посажены Серафимой Григорьевной, Василий не стал прощаться. Это чужие для него кусты. У него с ними нет никаких отношений. Они воткнуты сюда ею нахально, они загустили ряды саженного им крыжовника. Он даже плюнул на одно ни в чем не повинное растение...

Потом Василий стал прощаться с изгородью, сожалея, что не сумел приставить к некоторым подгнившим столбам пасынков. Хозяйство нужно оставлять в полном порядке. Он до этого покрасил и промазал всю крышу. Проолифил новый пол. Нужно было бы заняться крыльцом, да не успел.

Потом он пошел в дом. Там плакала Ангелина. Но утешить ее теперь было не в его силах. Есть один путь примирения — она должна встать и сказать: «Василий, я ухожу с тобой...» А как же иначе, если она жена и друг?..

И если она это сделает в последнюю минуту, тогда не будет на земле счастливее и свободнее человека, чем он. Но Лина пока лежит ничком поперек широкой кровати. Что поделаешь? Не может — значит, не может. Но и он не может пойти на уступки. Аркадий Баранов — это же не просто Баранов, личность, частное лицо, фронтовой друг. Нет, это частица партии, в которой Василий мысленно состоял, а потом исключил себя из нее. Партийность-то ведь не только организационное оформление. Это, во-первых, как ты веруешь и как ты поступаешь. Не напоказ, а по требованию своей души. Как Сметанин из «Красных зорь». Как сын Иван, зашагивающий всем своим существом в завтрашний день. Без крику. Без желания попасть на Доску почета.

Прощание с комнатами было недолгим. Побывав в каждой, начиная с верхних, Василий спустился вниз. Погладил радиаторы отопления. Заглянул в маленькую котельную. Немало она пожрала у него сна, заставляя зимой просыпаться после полуночи и подсыпать уголь... Ну да ладно. Что ее винить?

Василий Петрович, прощаясь со своим домом, обрывал сотни невидимых нитей, тянущихся от его сердца к каждому бревну, отесанному им и врубленному в стену. К каждой двери, навешенной им. К каждой раме, в которую он врезал стекла. К каждому кирпичу: если даже не он уложил его, то оплатил своим трудом. Здесь ничего нет чужого. Здесь все заработано им.



Милый Василий Петрович, ты воздвигал эти стены в двадцать два венца, чтобы потолки были высоки, чтобы дышалось легко... А что произошло?

Милый Василий Петрович, ты воздвигал эти стены в двадцать два венца, чтобы потолки были высоки, чтобы дышалось легко... А что произошло?

Ты входил в этот дом, как в светлый чертог, а покидаешь его, как камеру пыток. Дом стал душен и тесен. Ты перестал в нем жить. Он стал жить в тебе. Жить и тянуть соки твоей души. Замыслы твоего ума, новые сплавы твоей стали.

Конечно, ни в чем не виновен твой хороший дом. Виноват не он, а отношение к нему. Виновны люди, начинившие его гнилью, куда более страшной, чем домовая губка.

Прощай, дом! Ты больше не принадлежишь Василию Кирееву. У тебя с ним не получилось правильных отношений.

Наконец комнаты были обойдены. И он пришел в последнюю. В спальню. Сел на скамеечку, куда обычно клал перед сном одежду.

Ему нужно было посидеть. Для порядка. Перед дорогой всегда сидят. Остальным не обязательно. Они же остаются.

Теперь предстояло самое трудное, хотя он и все решил, все предусмотрел и уговорил свое сердце не мешать ему в единственно правильном исходе.

Избавляя дом от жестокой домовой губки, Василий устранил все, что могло возродить эту страшную болезнь. Выбрасывались и здоровые, но чреватые вспышкой губки доски, балки, пластины наката.

Так же и теперь — он уходил от всего, что могло удержать, а потом отбросить его в цепкие объятия той жизни, с которой он хотел порвать. И Ангелина — душа этого дома, построенного для нее, — могла сейчас изменить весь ход его мыслей и намерений.

Она могла зарыдать, лишиться чувств, забиться в истерике, начать рвать на себе одежду или... или что-то еще, что не приходило в голову Василию. В такие минуты жизни бледнеют самые душераздирающие сцены в театре или в кинематографе. Потому что, какие они ни будь, это игра. Сцена. Экран. А тут — жизнь. Тут

не актриса, а живая жена. И ты не зритель — и даже не герой-любовник, страдающий по загодя предусмотренным ролью страданиям, а муж. И ты не знаешь, как развернется действие и какие скажутся слова.

Воля волей, а сердце сердцем. Его любовь хотя и омрачилась упорством Ангелины, но все же он безумно любит ее. Любит, хотя и считает изменой и, может быть, даже предательством ее поведение. Что там ни говори, а она предпочла дом живому, страдающему Василию. Как там ни формулируй, а дом Ангелине ближе и дороже, чем он, ее муж. Разве это не так? Разве не ради дома Ангелина остается в нем? Поступил бы так Василий, окажись на ее месте?

Теперь ему оставалось выяснить: «С кем ты повенчана, Ангелина, со мной или с домом?» Разве это все второстепенно в их отношениях? Разве это не проверка любви?

Недавно на их заводе рухнуло счастье одной пары только потому, что она не захотела поехать с ним на далекую новостройку. Какова же цена этой любви, если любимая предпочла любимому свои привычные городские удобства?

Василий вспомнил и Радостина. Радостин получил поворот от ворот только потому, что у него «ни гнезда, ни дупла, ни скворечника». Именно эти слова были сказаны Серафимой Григорьевной четыре года тому назад.

Так что же выходит? Выходит, что «скворечник», который возвел Василий, связывал его и Лину больше, чем все остальное. И если это так, то какова цена всему остальному?

Наступил момент, когда нужно было выяснить все определенно до конца.

За этим-то он и пришел в спальню.

Сердце, будь твердым. Мужчина остается солдатом и в этом поединке.

Ангелина поднялась с кровати, подошла к Василию и сквозь слезы спросила:

— Уходишь?

— Да, Лина.

— От меня уходишь?

— Не от тебя, Лина, а от всех этих тенет. Я уже вышел из них, и ни одна паутинка больше не держит меня здесь.

— А я? — с надрывом спросила Ангелина, опять падая поперек кровати.

— Так ты-то ведь не паутина, а человек. Свободный человек. У тебя разум и ноги.

Василий надеялся, что сейчас, в эту минуту, будет найден какой-то новый выход. Что-то такое, что Аркадий называл компромиссом. Но Ангелина сказала определенно:

— Я не могу расстаться со всем этим. Это радость моей жизни. Это мои счастливые заботы.

— Разве я неволю тебя, Лина? Если дом, козы и боровы — радость твоей жизни, если черная смородина проросла через тебя, значит, между нами возникли, как говорится, серьезные разногласия идейного порядка.

Ангелина опять заплакала. Серафима Григорьевна, стоявшая за дверью, вбежала и закричала истошным голосом:

— Кто поверит этому? Какие могут быть между мужем и женой идейные разногласия? Придумал бы уж, Василий Петрович, что-нибудь посклепистее!

Василий, не желая видеть тещу, не поворачиваясь к ней, сказал:

— Придумывать я ничего не собираюсь, как и не собираюсь кому-то и что-то объяснять. Кто хочет, кто может, тот пусть верит мне и понимает меня, а кто не может — доказывать не стану.

— Значит, ты бросаешь ее? — в упор спросила Серафима Григорьевна. Ее лицо перекосилось. Снова часто засверкал остекленевший левый глаз.

— Если жена не следует за мужем, значит, не он, а она оставляет его.

Тут Василий посмотрел на тещу и, увидев на ее лице густой слой пудры и подчеркнутые ресницы, добавил к сказанному:

— Я никому не хочу мешать устраивать свою жизнь и... пудриться!

Серафима хлопнула дверь. Теперь Василию оставалось только положить ключи. И он положил их на кровать. Положив, сказал:

— Бывай здорова, Лина. Не беспокойся, на свою половину этого логова я не претендую. Нотариальная контора пришлет тебе какие следует бумаги. Давай поцелуемся.

И они поцеловались. Поцеловались так, будто тот и другой целовали не живого, а мертвого.

Василий медленно подходил к старенькому «Москвичу». Долго проверял уровень масла в картере, достаточно ли воды в радиаторе. Он даже сходил под навес и взял бутылку с дождевой водой для доливки аккумулятора. С той самой водой, которой наполнил недавний ночной дождь большую суповую миску из нового сервиза.

Видно было по всему — он все еще ждал, что Ангелина выйдет и скажет: «Я согласна, Василий. Отдадим дом завкому...»

Но Ангелина не вышла.

Он сел в машину, нажал кнопку стартера. Машина взвизгнула, будто заплакала. Больно кольнуло сердце Василия Петровича. Пронзительно громко заскулила Шутка.

— Ты что?

А она, будто зная все, просилась к нему. Виляла обрубочком своего хвоста, наклоня голову набок, глядела на него своим единственным глазом.

— Да разве я тебя оставлю здесь? Прыгай, бедняга.

Шутка прыгнула в открытую дверцу машины и села на переднее место справа от Василия, мордой к ветровому стеклу.

Он хотел остановиться у ворот, чтобы открыть их. Но там оказалась Марфа Егоровна Копейкина.

— Не останавливайся и не оглядывайся, — сказала она, открывая ворота. — Уход огляда не любит.

XLVIII

— А я тебя еще вчера вечером ждала, — как бы между прочим сказала Мария Сергеевна, когда Василий Петрович сел за стол в кругу своей старой семьи.

— Да ведь я, мамочка, будто не оповещал тебя о своем приезде, ответил Василий, — и будто никому ни о чем не говорил. Откуда же ты могла, понимаешь, предположить такое?

И та ответила, смеясь добрыми серыми глазами, светясь белизной своих волос, выглядывающих из-под шелкового клетчатого платочка, повязанного по-молодому:

— Наверно, лампочка мигать начала. Как пробкам перегореть, всегда ты приезжаешь.

И больше ни она, ни Лида и ни Иван ни одним словом не обмолвились о том, почему приехал он, что произошло там. Василий заметил, что его кровать была застлана особенно тщательно. Чистые, новые наволочки на подушках, новые шлепанцы на прикроватном коврик и снова появившийся на тумбочке жбан с квасом, который пил Василий и ночью, — все говорило о том, что его ждали, что здесь известно все.

Мария Сергеевна подала к ужину стерляжью уху на ершином бульоне. Тоже, наверно, не случайно было приготовлено это блюдо.

Лидочка налила первую тарелку отцу, потом бабушке, потом Ване, потом себе.

— Эх, мамочка! А у меня, у бывшего домовладельца, ни гроша в кармане, а надо бы для такого случая...

Ваня поставил перед отцом узкую бутылку пятизвездочного коньяка и сказал:

— По звездочке на брата...

Василий пересчитал сидящих за столом, спросил:

— А пятая-то в честь кого, Ванек?

— Это уж как ты пожелаешь. Хочешь — в честь Ангелины Николаевны, хочешь — в честь Аркадия Михайловича.

Сказал так сын и откупорил бутылку.

— Как в кино, — заметил Василий, поглядывая то на сына, то на Марию Сергеевну. — Все со смыслом. Ну, если все со смыслом, то пятая звездочка пускай будет в честь Шутки. Это уж пожизненная спутница, вокруг Луны и обратно... А мой Аркадий, видно, сбег из города. Иначе показался бы... Ну а что касается остального-прочего, то за отсутствующих я не пью.

Налили. Чокнулись стоя. Молча. Выпили, затем стали есть уху.

Едва ли есть в мире вкуснее уха, нежели сваренная на ершах, а потом заправленная стерлядью. Купцы знали толк в этой дорогой еде! А из простого народа разве только уральцы, живущие близ больших рек, могли позволить себе приготовить такое блюдо. Архиереи — те варили стерляжью уху на курином бульоне. Ну, так им разрешал это не один лишь бог, но и карман.

Ночь Василий проспал не просыпаясь. Проснулся выпавшимся. Свежим. Шутка вылезла из-под кровати, потягиваясь. Ей, кажется, тоже было хорошо среди знакомых людей. Лида и Ваня — это свои. И если они так внимательны к неизвестной ей Марии Сергеевне, значит, она тоже своя. Тем более — кормит ее. Кормит такими косточками, на которых есть что обглодать. И не бросает их, как Серафима Григорьевна, а подает, приговаривая. Пусть Шутка не понимает всех ее слов, но это ласковые слова. В них нет ни одного рычащего слова: «жри», «прорва», «мымра», «обжора». У Марии Сергеевны певучие слова: «Шуточка», «бедняжечка», «умница», «чистюлечка»...

Через день Василий вернулся на работу. И все ему снова так дорого. И шум, и дым. И сверкание тысячи раз виденных слепящих искр, вылетающих золотым снопом из ковшей при разливке стали. И малиновый свет темнеющих слитков, освободившихся от форм и увозимых в прокатные цехи. Радостная и суетная работа одноруких завалочных машин, сующих в огненную пасть мартенов мульту. Все такое привычное и такое новое!..

Киреев зашел в комнату цехового партбюро. Здесь он, кажется, не бывал больше года. И у него, кажется, там не было никакого дела. И он даже не помнил, кто теперь в партбюро. Но его ноги будто сами остановились перед этой дверью, а руки открыли ее. И он прошел туда. Прошел и увидел Афанасия Юдина, сталевара с девятой печи.

— Здорово, Афоня!

— Привет, Вася! Ну как?

— Не знаю, что и сказать...

— Василий Петрович, я тебе советую кончать с отпуском. Тебе нельзя сейчас оставаться без работы. Тебе нужно в жар, в пекло, по самую маковку.

— Пожалуй, понимаешь, Афанасий, что так!

Василий направился к начальнику цеха, чтобы объявить ему о прекращении отпуска по его личному желанию и по совету секретаря партийного бюро товарища Юдина.

#### XLIX

Через день Киреев появился в цехе во вторую смену. Эти два дня он провел с Лидой. Она ходила с ним по городу под руку. Они шли счастливые и нарядные, не замечая прохожих, витрин и, конечно, афиш. А на одну афишу им следовало бы обратить внимание. Это была цирковая афиша. На ней значилось:

«Под куполом цирка воздушные гимнасты Анна Гарина и Алексей Пожиткин...»

Эта строчка заставила бы их задуматься о дальнейшей судьбе Алины. Она вернулась в цирк и нашла себя в своем блистательном, но нелегком труде. Но нашла ли она своего Алешу не только лишь в воздухе, под куполом цирка, а на земле? — в афише не сообщалось.

Добрые люди умеют прощать. Умение прощать — великое богатство человеческих душ. Все же не все и не сразу может простить и самое доброе сердце.

Первая после отпуска плавка Василия была осторожной, но успешной. Когда началось раскисление стали и в плавке наступила некоторая передышка, Василий решил заглянуть в вечернюю газету. Там сообщалось о пленуме городского комитета партии и говорилось, что первым секретарем горкома избран т. Баранов А. М.

Киреев заметил подручному:

— Скажи, понимаешь, на милость, Андрей, сколько Барановых на свете! У моего-то Баранова имя, отчество тоже А. М.

— Так, может быть, его и выбрали, — сказал первый подручный, заглянув в газету.

Василий громко расхохотался:

— Барановых и Киреевых на свете не меньше, чем Ивановых! Городской комитет такого города, как наш, — это, понимаешь, побольше другого обкома. Туда знаешь каких людей избирают... А мой Аркадий — почти что я. Только у него, конечно, на плечах голова раз в двести покрепче моей.

— Тем более, значит, могли выбрать...

— Тьфу тебе, понимаешь! — крикнул Василий. — Дай газету. Глянь в печь. Ты же первый. А я сталевар. Мое дело — читать, а тебе печься!

Не хотел Василий да и не мог поверить, что Аркадий, который тесал вместе с ним балки, помогал Копейкину чистить свинарник, занимался судьбой циркачки Алины, спал под сосной, жил в каморке верхнего этажа, — и вдруг... первый секретарь! Не бывает такого. Это же номенклатура, город же у них союзного подчинения. Но...

Но, с другой стороны... Теперь такое время... И такой свежий ветер...

Нет, он больше не должен думать ни о чем. Нужно доводить плавку и готовиться к пробе, а потом к выпуску. Сталью больше шутить нельзя.

Нет, он больше не должен думать ни о чем. Нужно доводить плавку и готовиться к пробе, а потом к выпуску. Сталью больше шутить нельзя.

В эту ночь в мартеновском цехе появилась «молния». Поздравляли Василия Петровича с новым успехом. Киреев отлично понимал, что это «аванс». Успех был не велик. В минутах по времени, в полутора тоннах по весу. Но все же это был успех. И Василий Петрович сказал комсомольцу, работавшему в канаве и вывешивающему «молнию»:

— Спасибо, понимаешь... Оправдаю!



В это время в разливочном пролете Василий увидел сына. Он явно ждал отца. Уж не стряслось ли что? Да, кажется, нет — Иван весел.

Сдав смену, Василий Петрович спустился вниз.

— Ты что здесь, сын?

— Жду тебя.

— Зачем?

— Есть поручение.

— От кого?

— От ребят. От цехового бюро комсомола.

Они вышли из цеха. Ваня начал издали:

— Ты, конечно, знаешь, что новая печь стала на сушку. Это будет комсомольская печь. Полностью комсомольская. Все смены. И на завалке тоже наши ребята. И крановщики... Словом, сквозная, спаренная, комплексная и тому подобное...

— Ну так что?

— Ничего. Сообщаю.

— А сообщаем зачем?

— Я думал, ты уже догадался...

— Может, и догадался, да не вполне. Не темни уж, понимаешь... Чего вы хотите?

— Бюро выдвигает твою кандидатуру возглавить наш комсомольский коллектив, который будет бороться за звание коммунистического.

Василий Петрович остановился, заглянул сыну в глаза.

— Ванька! Да ведь мне сорок третий. Опоздал я в комсомольских-то кандидатурах ходить. Андрюшку Ласточкина выдвиньте, он давно уже готовый сталевар...

— Нет, папа. Нам нужен ты. Я ведь не как сын, а как член бюро. И в дирекции тебя рекомендуют...

— В дирекции? Вот либералы, понимаешь, проклятые... меня же судить нужно, а не выдвигать...

Ваня сказал на это:

— Суд, папа, судом, а доверие доверием.

В первый раз почувствовал Василий Петрович, что его сын взрослый, самостоятельный человек, член бюро цеховой комсомольской организации, фигура, с которой нельзя не считаться...

— Я подумаю, товарищ Иван Киреев, — сказал Василий Петрович.  
— Утро вечера мудренее.

Утро и в самом деле оказалось мудренее. Явился второй агитатор — сам секретарь комсомольского бюро цеха Миша Копейкин. Форменный Аркадий Баранов в молодости. Даже глаза карие. Он старше Ивана двумя годами... Мы должны бы сказать о младшем внуке Прохора Кузьмича несколько подробнее. Это эпизодическое действующее лицо могло бы начать ответвление романа, если бы он не был на исходе. Все же кое-что скажем о Мише, чтобы порадоваться за счастливый день Лидочки Киреевой, который может наступить через два или три года.

L

Миша Копейкин, младший внук Прохора Кузьмича, всего лишь мельком назывался на страницах, хотя он имел полное право быть показанным на них в березовом перелеске, где Лидочка пасла коз. Он появился там затем, чтобы сказать, как идет строительство новой, большой мартеновской комсомольской печи. И что он и Ваня придут на нее третьими подручными сталевара.

Он рассказывал ей, что, наверно, его вскоре назначат вторым, а потом и первым подручным и когда-нибудь он будет, как и ее отец, сталеваром вместе с ее братом Ваней. И это очень хорошо.

Миша Копейкин ничего не говорил Лидочке о своей любви. Потому что он еще пока всего лишь третий подручный, а она школьница. И Лида по этой же причине не сообщала ему о своих чувствах, хотя она как-то между прочим заметила:

— У меня никогда не будет никаких коз, никаких поросят и садовых домиков.

И Миша солидно-пресолидно сказал ей:

— Лидия, зачем ты предупреждаешь меня? Неужели ты думаешь, что мы с Иваном способны торговать смородиновыми черенками или поросятами? Нам с Ваней дадут общую квартиру, и мы будем... А как ты относишься к Соне Ладышкиной?

— Я думаю, — ответила Лида, — что у Вани очень хороший вкус, а у Сони Ладышкиной доброе сердце. Я сужу по глазам.

— Это верно, — подтвердил тогда Миша. — Соню очень любят ее пионеры. А это лучшая рекомендация.

Лида считала Мишу самым серьезным молодым человеком. Ему можно было доверять любые тайны. И она почти ничего не скрывала от него, кроме желания хотя бы один раз быть поцелованной им. Но за это желание Лида не уважала себя. Оно было неразумным. Если он поцелует однажды, то поцелует и дважды и трижды... А ей нужно кончать школу и не думать ни о чем таком... преждевременном. Поцелуй — очень серьезный шаг. Это почти обручение. Пусть она живет не в тургеневское время, но ведь лучшее-то из этого времени не умерло и не может умереть... Да и нужно сто раз проверить. Это же на всю жизнь. И нужно поговорить с бабушкой. Она же совершенно ничего не знает. Хотя ей и не о чем пока знать. И если Миша однажды, прощаясь, поцеловал Лиду руку, так это же всего лишь этикет. Аркадий Михайлович бабушке тоже поцеловал руку, когда прощался. И смешно было бы, если Миша, такой необыкновенный, и вдруг вел бы себя обыкновенно, как все... Это было бы невыносимо. Это было так же странно, как если бы она не встречала Мишу улыбкой или бы запрещала ему брать себя под руку, танцевать с ней и покупать для нее билеты в оперу. Из прошлого нужно брать самое лучшее и самое красивое.

Вот и сегодня Лида, узнав, что придет Миша Копейкин, с утра надела плиссированное платье и тщательно заплела косы. Она будет угощать его чаем, не бабушка же. Ведь он ее гость, хотя и приходит к папе. Она приготовит легкий завтрак. Омлет с мелко нарезанной ветчиной. Наденет бабушкин фартук. Может быть, даже предложит по рюмке оставшегося коньяку. А что такого? Ведь он же почти второй подручный и официальный представитель общественности цеха.

Миша Копейкин появился в светлом, чрезмерно выглаженном костюме. Поздоровавшись прежде с бабушкой, потом с Лидой (и

правильно — она же тоже почти женщина) и только потом с папой, потом и с Ваней, он сказал:

— Василий Петрович, Ваня уже, наверно, говорил вам...

Миша Копейкин повторил предложение и неторопливо рассказал о замыслах комсомольцев, о мечте работать по-новому.

Миша давно нравился Василию Петровичу, он всегда любовался им, а теперь втрое. Не зная, как ответить, внутренне польщенный, он сказал:

— Посоветоваться мне кое с кем надо, ребята...

— Пожалуйста, Василий Петрович, посоветуйтесь, — сказал Миша и, увидев кого-то через открытое окно, заметил: — Как это кстати!

«Как это кстати» относилось к Юдину. Он должен был зайти «кстати» минут через двадцать — тридцать после прихода Миши Копейкина. Как «тяжелая артиллерия». И он зашел.

— Собрался навестить Кузьму Кононова да решил завернуть к тебе... Не помешал?

— Афанасий, — обратился Василий Петрович к Юдину, — так партийную работу не проводят. Врать, понимаешь, не нужно даже по безобидным пустякам. Кузьма Кононов уже две недели как в отпуске, на Кавказе. И ты знаешь это. Ты шел ко мне. И у вас сговор...

— Сговор? С кем?

— Афоня... Хватит... Я согласен...

— Тогда и говорить не о чем. Руку!

— Изволь.

Появилась Лидочка в белом фартучке, с омлетом на большой сковородке.

— Ваня, приглашай гостей к столу...

— И эта в сговоре?

— Ну так ведь комсомолка же, — ответил за Лиду Юдин. — Комсомолка.

— Ну да, конечно... Вы все здесь комсомольцы, коммунисты, только я... так сказать... Недозрелый, недовоспитанный... Сырой материал.

Юдин на это с улыбкой, но всерьез сказал:

— А ты их не сторонись, Василий Петрович. Довоспитают. До дела доведут да еще в партию передадут. Это ведь сила... Да еще какая... Попробуй им отказать...

Василий Петрович заметно расчувствовался после этих слов. Расшатанные нервы все еще давали себя знать.

— Ну что же, начнем новую биографию с комсомольской работы... Ах! — стукнул он кулаком по столу. — Как жалко, что не видит всего этого мой друг Аркадий Баранов!

Ц

Рано утром в приемной секретаря городского комитета партии появился человек в холщовом пыльнике, с кнутом за голенищем правого сапога. Он сказал молодому помощнику секретаря:

— Доброго здоровьица. Я Иван Сметанин из «Красных зорь», председатель. Мне бы к новому секретарю, к товарищу Баранову.

— Еще без пяти, — ответил помощник. — Он приходит ровно в девять.

В это время в приемной появился Аркадий Михайлович Баранов.

— Хо! Здорово, знакомец! — окликнул его Сметанин. — Никак тоже к секретарю? Ваша очередь, прошу покорно, вторая.

Молодой помощник, слыша это, был страшно шокирован таким обращением с первым секретарем. Он хотел было тактичненько вмешаться и разъяснить. Но Баранов опередил его:

— Здорово, товарищ Сметанин! Как поживает белая свинья?

— Полный порядок. Теперь ей дана, можно сказать, настоящая зоотехника и полная проверка на заболевания... Спасибо вам за умный ход... Тогда вы очень хорошо подмогли. А где вы работаете?..

— Да еще начинаю только, — ответил Баранов. — Проходите, — указал он на дверь кабинета.

— Неудобно как-то без самого-то, — отказался войти Сметанин.  
Баранов открыл дверь.

— Ничего, ничего... Я его знаю.

— Тогда лады.

Они прошли в кабинет.

На стенах портрет Ленина в рост, огромный план города, раскрашенный в несколько цветов.

Сметанин сразу понял, что к чему. У него такой же генеральный план своего колхоза. И тоже раскрашен разными красками, и каждая краска означала год пятилетнего плана, год прироста намеченного и запланированного.

— Дельно, — одобрил Сметанин план, — наглядно, можно сказать, и перспективно для каждого. Не худо бы на главной площади такой вывесить. Только перечертить надо пошире разов в десять и соответственно подлиньше.

— А зачем? — пытливо спросил Баранов.

— Каждый увидит, что и когда, какая краска какому году соответствует. Массово нужно это все.

— Вы правы. Так и будет сделано, Иван Сергеевич, — совершенно серьезно ответил Баранов.

— Смотри ты, какая память! И отчество мое запомнил...

— Привычка запоминать людей.

— Это конечно, но все ж таки... А я вот и фамилии вашей не запомнил... Да разве упомнишь всех? Я теперь даже книжку в помощь голове завел. Вот видите. — Сметанин показал объемистую книгу-календарь. — Тут на каждый день. А вы, случаем, не в горькоме работаете?..

— Да, здесь. Садитесь, — пригласил Баранов, и они уселись на диван.

— Тогда, может быть, пока да что перекинемся. У меня три вопроса. Не знаю, все ли они правильные. А если что не так, то вы мне, прошу покорно, по знакомству подскажите... Можно закурить?

Сметанин вынул знакомый Баранову кисет.

— Конечно. Окна открыты.

— Не буду, пожалуй, — раздумал Сметанин и сунул кисет в карман.

— Так, пожалуй, начнем с кадров. Семен Явлев подразогнал из колхоза людей порядочно, а моя задача вернуть их на свои места. Особенно дельных. Агафью, например, Волову. Доярка первой руки. На Стародоменном в сторожихах работает. А зачем? Ради каких таких высоких материй? То же самое первый свинарь Акульшин Николай Степанович. Там же в подсобных при домне околачивается...

Увидев, что Баранов записывает фамилии, Сметанин сказал:

— Не утруждайтесь. Вот список потерянных колхозных кадров. — Он подал список, перепечатанный на машинке. — А это вот особая бумага. Не то что секретная, а в партийном порядке и не для всякого глаза. Наш бывший председатель Семен Явлев в кладовщики через Кузьму Ключникова метит. На городскую базу. Этого допускать нельзя. Там он при продуктах не исправится, а кончит тюрьмой. А на конном дворе он, может быть, через два-три года человеком станет. У меня на него зуб горит, а мести к нему нет. Если можете, посодействуйте.

— Посодействую, — сказал Баранов, — обязательно посодействую. Список будет рассмотрен самым доброжелательным образом.

— Вы к кадрам имеете отношение?

— Да.

— Тогда лады полные! Теперь о земле. После недавнего укрупнения Нижняя Березовка со всеми землями, а равно и со всеми убытками, приплюсована к «Красным зорям». В смысле укрупнения. А семнадцать га с гаком, где незаконно расположился Садовый городок, являются законными нижеберезовскими, а теперь краснозорьскими гектарами. И у нас, скажу я вам, назревает своего рода рабоче-крестьянский конфликт с затяжной тяжбой.

Баранов, любясь Сметаниным, расхохотался:

— Рабоче-крестьянский конфликт?

— Именно. Когда-то, давным-давно, эти земли ходили в заводских покосах. Но в тридцатых годах по земельному переустройству эти

земли были прирезаны к Нижней Березовке, а потом оформлены по акту на вечное землепользование нижеберезовскому колхозу. Оформить-то оформили, а взять не взяли. Они тогда даже со своими коренными землями не справлялись. Соображаете, что и как?

— Соображаю, Иван Сергеевич, соображаю... Получается, что земля Садового городка принадлежит вам.

— Именно. Вместе с Ветошкиным и с Василием Петровичем, хотя, сказывают, он там теперь не живет.

Сметанин заметно волновался. Он поминутно то разглаживал усы, то хватался за кисет.

— Да курите вы, дорогой Иван Сергеевич, курите. И рассказывайте, что вы собираетесь делать с Садовым городком.

Сметанин, торопливо свертывая сигарку, сказал:

— Во-первых, пока мы решаем да соображаем, арендная плата за городок должна идти на текущий счет «Красных зорь». Это уж как пить дать.

— Во-первых, пока мы решаем да соображаем, арендная плата за городок должна идти на текущий счет «Красных зорь». Это уж как пить дать.

— Если это ваша земля, она должна у вас и арендоваться, а Большой металлургический завод тут ни при чем.

Это очень обрадовало Сметанина.

— Вот если бы вашему первому могли это внушить!

— Внушу, Иван Сергеевич... Значит, вам эта земля необходима, чтобы получать арендную плату? Да?

— Не только. Это, прошу покорно, только пока, — ответил Сметанин. Пока... Не хотелось бы мне говорить, что будет впоследствии, но я вижу, что вы человек тоже с приглядом, скажу. Два у меня плана. Либо сад разбить впоследствии на месте городка, либо затопить. Поскольку тут низина, а талой воды на семь прудов хватит.

В это время вошел помощник и тихо сказал:



— Аркадий Михайлович, вас к прямому.

— Прошу извинить, Иван Сергеевич! — Баранов поднялся и подошел к телефону. — Баранов слушает... Здравствуйте.

Сметанин понял, что разговор ведется с Москвой. Он также понял и еще кое-что...

Когда Баранов положил трубку, Сметанин, прохаживаясь по кабинету и машинально ударяя кнутом по голенищу, сказал:

— Ну вот и полный порядок, товарищ Баранов Аркадий Михайлович. «В горкоме свои, в обкоме наши...» После Пленума, бог даст, и райком переизберем... Оно и пойдет. Благодарствую вам на беседе. У меня все. Когда зайти насчет списка?

— В самые ближайшие дни, — сказал, прощаясь, Баранов. — Только, если можно, без кнута.

— Кнут не вопрос. Его можно и на вешалке оставлять... Желаю вам! А если вздумается, у нас Дом рыбака оборудуется. Пятнадцать рублей комната. За право ловли четыре рубля с носа... Везде приходится деньги выискивать. Даже с внеплановых белых крыс сто тысяч годового дохода планируем. Пока!

Когда Сметанин ушел, Аркадий Михайлович обратил внимание на газету, лежащую на столе. Красным карандашом была отчеркнута заметка, озаглавленная «Комсомольская печь задута». В заметке сообщалось о том, что на Большом металлургическом вступила в строй новая печь. Киреев В. П. назывался в заметке сталеваром-наставником. Корреспондент, подписавший заметку буквами М. К., надеялся, что при таком руководителе, как опытный сталевар Василий Петрович Киреев, молодые сталевары дадут стране тысячи тонн сверхплановой стали.

Баранов тут же позвонил директору Большого металлургического завода. Поздравляя его с задувкой печи, спросил:

— А как относительно выговора в приказе сталевару Кирееву?

В трубке послышалось:

— Аркадий Михайлович, если бы вы знали этого человека, если вам рассказать все, с какой честью он вышел из...

— Я об этом знаю со всеми подробностями... — перебил Баранов.

— Конечно, — снова послышалось в трубке, — горкому виднее.

— Киреев — мой фронтовой товарищ... — сказал Баранов. — Выговор в приказе будет правильно понят им. К тому же вы снимете с его души камень, успокоите угрызения совести. Ведь он же мучается, переживает свой проступок. Висит он на нем. А ему теперь нужно не переживать, а отрубить все и работать. Копию приказа прошу прислать мне.

## LII

А вокруг дома Василия Петровича ходил Смальков, ласковый, опытный, с голосом агнца и хваткой бульдога.

Где пахнет поживой — продающимся домом, осиротевшим автомобилем или даже просто усиленно спрашиваемым товаром, всегда появляются хищные ловцы с елейной улыбкой простачков. Будь это редкая библиотека, составленная за долгие годы ученым, или стоящее собрание картин, или даже коллекция почтовых марок — всегда находится покупатель, «идуший навстречу» и умеющий доказать выгодность сделки.

Олимпий Макарович Смальков действовал через Ключа. Смальков работал где-то по заготовке кож, числясь там для видимости в малых чинах. Он посредничал по сбыту даров щедрых земель Кавказа, знал толк в мехах, не брезговал черной браконьерской икрой, покупаемой в Астрахани. Он скупал с надбавкой выигравшие облигации золотого займа, нужные ему как оправдательные документы наличия у него сумм, во много раз превышающих его заработную плату.

Он предлагал Серафиме Григорьевне ни много ни мало как шесть оценочных стоимостей дома, из которых пять вручал без расписки до нотариального оформления, а одну оценочную стоимость в нотариальной конторе.

— И вам хорошо, и для меня не боязно. Отдадите половину официальной суммы для очищения совести строителю дома сего, а остальное себе на черный денек.

Кузьма Ключ ручался за сделку головой. И Серафима не могла не верить этому ручательству. Ключ был у нее в руках. Он не посмел бы обмануть ее даже на рубль. И у жулья есть своя грабительская этика.

Такая сделка во всех отношениях устраивала Серафиму Григорьевну, косившую теперь на оба глаза. Устраивала тем более, что после ухода Фени она достигла соглашения с Ветошкиным исполу кормить крыс. То есть получать половину доходов, взяв на себя уход и корм. Она надеялась совсем переселиться на дачу Павла Павловича, затем стать ее полновластной хозяйкой, а впоследствии наследницей. Киреевский дом оказывался для нее лишним. Его нужно было сбыть Смалькову, предлагающему без расписки неслыханную цену. Лучшего нельзя было и ожидать, но для этого необходимо согласие, а затем и подпись Ангелины. Покорная дочь на этот раз не оказалась покладистой. Она повторила сказанное Василию:

— Дом — это радость моей жизни.

И все. А без Ангелины нельзя было ступить и шагу. Дом переписан теперь на нее.

К этому надо прибавить и размолвку Ангелины с матерью. Даже две размолвки.

Первая возникла после оскорбительного зазыва в ее дом Якова Радостина. Она точно знает, что ее мать через того же Ключа нашла Радостина и сказала:

— Зашел бы ты, Яшенька, вечером навестить соломенную вдову.

А он ей:

— Зашел бы, да боюсь, что мне дорого может обойтись это посещение.

Дальше — больше. Та ему:

— В каком смысле дорого? Как это понимать? Мы за встречи денег не берем, а сами можем приплатить, если будет стоить того...

А он ей:

— Я знаю. Помню ваши бесстыдные три тысячи, переведенные за мой позор.

А потом Радостин прислал письмо:

«Глубокоуважаемая Ангелина Николаевна! На вас у меня нет обиды. Вы привада в руках у Серафимы Григорьевны. Будьте

счастливы, а я счастлив. У меня сын и дочь — Миша и Линочка. Всегда уважающий вас Яков Радостин».

Ангелина ответила:

«Хороший человек вы, Яша. Я счастлива вашим счастьем и благодарю вас за добрую память. Мне стыдно за мать. Уважающая вас Ангелина Киреева».

Вторая размолвка возникла из-за Ветошкина. Ангелину унижало и оскорбляло поведение матери. Это корыстное, низменное заигрывание немолодой женщины со стариком, эта пудра, эти подчеркнутые ресницы, эти подложки-толщинки, моложение голоса были противны здоровому естеству Ангелины. Она все еще не могла сказать, что ей хотелось, что нужно было сказать матери. И лишь однажды не со зла, без тайного умысла, со всей непосредственностью она заявила Серафиме Григорьевне:

— От тебя нестерпимо пахнет крысами... Переодевайся, что ли, там у него. Или как-то еще... Я не могу есть с тобой за одним столом.

Мать попыталась было объяснить, что никакого запаха нет, что это все выдумка, но дочь сказала:

— Хватит. Будем есть порознь.

С этого дня они размежевались, живя в одном доме. Ангелина часто бывала у Агафьи, нянчилась с ее маленьким Гришенькой. Ангелина не знала, чем объяснить эту неожиданную любовь к детям. Ей и в голову не приходило, что просыпающееся чувство материнства заполняло всю ее душу, будило в ней нежность, и, кажется, впервые за эти четыре года просыпалась в ее сердце первая любовь...

— Случается и такое, — говорила ей Агафья, — случается, что и десять лет муж с женой проживут вместе, а на одиннадцатый год прорвется что-то такое внутри — и приходит счастье!

Редкий день не ждала Лина знакомого тархтения «Москвича» за воротами... Он не мог не приехать. Не могло оборваться все это навсегда.

Но Василий не приезжал.

Ангелина знала, проверяя себя в долгие бессонные ночи, что в борьбе за сохранение дома в ней не говорит собственническая наследственность. Нет у нее этой наследственности, а если и была, то ее съели ветошкинские крысы. В ней говорила целесообразность.

Если уж дом построен, то в нем нужно жить. Дом дорог ей как разумное сооружение, в которое вложен труд Василия и ее труд. Во всех случаях дом будет заселен, кому бы он ни принадлежал. Зачем же кто-то, а не они должны стать его жильцами?

Василий теперь боится стен дома, крыши, растений. Она понимает это. Ожегшись на молоке, он дует на воду. Но пройдут месяцы, и дом станет для него только домом, жильем — и ничто не напомнит ему о проклятой ведьме. Поэтому Ангелина на правах хозяйки действовала самостоятельно и решительно. Явившись к Сметанину в «Красные зори», она сказала:

— Иван Сергеевич, заберите оставшихся свиней. Если они что-то стоят, заплатите. А если не захотите, то возьмите так. За художества матери.

Серафима Григорьевна пробовала подняться на дыбы. Но свиней увезли.

Сметанин, сочувствуя Ангелине, понимая ее, помог ей в сносе чужеродных построек и, самолично перекопав освобожденную землю, пообещал также самолично засадить ее веселой черемухой и духовитой калиной. Он же послал своего садовода, и тот перепланировал цветочные гряды, разрешил ягодники, перевез в «Красные зори» все лишнее и ценное. Участок обрел простор сада и потерял свой выжигательский облик.

Серафима побаивалась теперь дочери. В Ангелину вселился протестующий дух Василия. И от нее тоже можно было ожидать всего. Сметанин, мужик прижимистый, но справедливый, учел каждый куст, каждый корень и платил правильную цену.

У Ангелины впервые оказались свои деньги. Она решила изменить облик и самого дома — покрасить его в приветливые цвета. И вскоре нежно-кремовые стены, белые наличники и крылечко придали дому женский облик. Тот же, да не тот дом. В новом платье он как бы повторил собой Ангелину. Преображенную. Очищенную. Ждущую.

Он придет в новый дом. Он придет. И в этом доме для всех найдется приют и место. Дом будет служить людям — Васе, Ване, Лиде, Марии Сергеевне... А не люди ему.

И если борьба за счастье семьи Кереевых — ее семьи — будет стоить года или двух лет испытаний, она выдержит их. Василий рано или поздно поймет, что их милый, душистый, потом политый, трудом поднятый дом не может, не должен принадлежать проныре с тараканьими усами Смалькову.

Прохор Кузьмич предложил глухой забор, сколоченный из горбыля внахлестку, заменить изгородью из балясника.

— На виду надо жить, — сказал он. — Зачем от свежего ветра отгораживаться? Пусть он гуляет-прохаживается, добрую молву о твоём житье-бытье разносит.

И появилась новая изгородь. Пустячное дело, а люди заметили. Хорошие слова сказали. Да и сама Ангелина при новой балясниковой изгороди, возведенной как бы для проформы, почувствовала себя не такой одинокой, как за глухим забором. Знакомый ли, чужой ли пройдет — всех видно. Через такую изгородь перемолвиться можно или просто махнуть рукой мимо идущей почтальонше Кате. И то хорошо. Изгородь тоже, оказывается, не без смысла на свете живет.

Все теперь, как открытое письмо Василию, говорило об изменениях, которые произошли в ее душе, пламенеющей любовью.

А стенной календарь тем временем терял листок за листком, становился все тоньше и тоньше. Не так далека и осень. Серая. Одинокая. Глухая.

Нужно завести собачонку. Будет лаять — все-таки как-то веселее и спокойнее. Скоро она пойдет работать в железнодорожный детский сад воспитательницей. Пойдет туда и будет коротать время с детьми, но никому не отдаст дом, построенный ею и ее мужем Василием.

LIII

Василий Петрович узнал, где и кем работает его друг Баранов. Узнал он об этом от Афанасия Юдина. Юдин ждал, что скажет на это Василий. А он, скрыв свое удивление, но не пряча радости, сказал:

— Я рад и за город, и за Аркадия Михайловича Баранова.

Василий впервые назвал его по имени-отчеству, подчеркивая этим, с одной стороны, уважение к нему, а с другой — некоторую отчужденность. Охарактеризовав Баранова как человека большого и простого, Василий как бы предупреждал Юдина, что в барановской простоте многовато прямоты, которая не всем придется по вкусу.

— Меня, между прочим, — неожиданно сообщил Василий, — он хотел рекомендовать в партию. Только теперь это не нужно.

— Почему же не нужно? — мягко спросил Юдин. — Он же твой фронтовой друг. А фронтовая дружба никогда не обрывается.

— Это верно, — согласился Василий, — не обрывается, а отношения, случается, приостанавливаются. Он рвал их первый, ему и восстанавливать их.

Сказал он так и задумался, а потом перевел разговор на другое:

— Прохор Кузьмич, того гляди, во внештатные советчики к Баранову перейдет... Ох и любит же он старика Копейкина! И правильно любит... Ну, я пойду на печь, — закруглил Василий разговор, происходивший в комнате цехового партбюро.

— Не перегружай себя, Вася, — предупредил Юдин, — а то из огня да в полымя... И надорваться можно. Кого мы тогда в заводской комитет выдвигать будем?

Василий задержался, ухмыльнулся и сказал:

— Комплексно, значит, лечите? С одной стороны, похвала в газете, с другой — выговор в приказе, с третьей — выдвижение в завком... Правильную, Афанасий, работу ведешь. Ладно, ладно, воспитывай! Только если тебе тоже воспитатель понадобится, в смысле, чтобы научиться тоньше шить белыми нитками, так, пожалуйста, прошу к нам на комсомольскую печь. Там у нас это все малость попроще и попрямее. Мы ведь боремся не только за коммунистический труд, но и, как говорит мой комиссар Михаил Копейкин и за ним мой сын Иван, мы боремся и за новые, коммунистические отношения друг к другу и ко всем людям. Даже к поскользнувшимся или смалодушничавшим, ошибавшимся... И мне смешно, когда ты начинаешь меня стимулировать славой, почетом, газетами, «молниями», выборами в завком. Вырубил я эту мелкосортную

смородину из своей души. Слава-то ведь тоже иногда бывает отрыжкой старой ведьмы... Приходи ко мне вечером — поговорим на эту тему. Мне ведь в одной партии с тобой состоять. А партия нашего брата спрашивает не об одной лишь стали, но и о том, как здесь варит, — он указал на свою голову, а потом на сердце, — и что тут кипит. Вот они, какие дела, товарищ секретарь партийного бюро мартеновского цеха... Жду вечером.

Василий Петрович неторопливо, вразвалочку, пошел мимо гудевших мартеновских печей к своей крайней печи, которая все громче и громче опять заявляет о своих успехах.

Он знает теперь, что Баранов следит за его успехами. Он знает, что Аркадий в своем трудном и загруженном дне находит минуту, чтобы позвонить на завод и как бы мимоходом справиться о делах на комсомольской печи. Уж кто-кто, а он-то понимает Баранова. Наверняка он мучается, переживает, что тогда там, в березняке, перегнул палку... Мучайся, мучайся, первый секретарь! Это тебе на пользу, сапер. Ты еще увидишь, узнаешь, каков твой друг Василий. Не раскаешься, что ты, рискуя жизнью, вынес его с минного поля.

День придет, и ты появишься в цехе у комсомольской печи и крикнешь: «Василий!» А он тебе: «Аркадий!..»

И — как будто ничего не было. Никаких карпов, никаких мальчиков на заборе, никаких хорей и прочей домово́й губки...

Хорошо мечтается, весело думается Василию Петровичу Кирееву.

«Славно бы, черт побери, было, если бы Мишку Копейкина на первого подручного натаскать! Не потому, конечно, что Лидия ему оказывает внимание. Это дело десятое и далекое. А потому, что этот Мишка догонит и перегонит со временем и самого Аркадия. И по принципам, и по существу...»

Хорошо мечтается, весело думается Кирееву.

«...Вот ты, Васька, и на пороге вступления в партию...»

...А Сметанин из «Красных зорь» — сила... Не мотануть ли к нему, если случится выходной? А то ведь и аккумулятор у «москвичонка» может сесть... Аккумулятор нужно подзаряжать, как и себя. Выходные могут случаться, если Андрюшку Ласточкина перевести сменным наставником на комсомольскую печь. Тоже ведь сила,



которую не разглядел ты, Василий Петрович, а следовало бы разглядеть.

Хорошо на душе у Василия Петровича. Только временами, особенно по утрам, когда он просыпается, слышится ему иногда ровное дыхание спящей Лины, тонко пахнет ее свежестью... А откроет глаза — одно воображение.

А к Сметанину нужно съездить. Все-таки мимо.

Василий ушел из дома, а дом не уходил из него. Добаливал в его сердце. Это же не просто дерево да камень, это и Лина...

Где-то здесь можно закончить наше повествование и, не обрывая нити судеб живущих в романе людей, передать воображению и домыслам дальнейшее течение событий. Пусть не все можно предугадать, но если судить по жизни, то мы, наверно, не ошибемся, сказав, что люди, подобные Ветошкину, Серафиме Григорьевне, Кузьме Ключникову, ни при каких обстоятельствах не могут украсить наши финальные страницы искренним раскаянием.

Нелепо же, в самом деле, надеяться, что прожженный стяжатель Ветошкин раздаст нахапанное детским садам или клубам, а сам, скажем, пойдет бригадиром в колхоз «Красные зори» и прославит себя в сельском хозяйстве!

С Ветошкиным этого не случится. Он еще будет какое-то время сосуществовать с нами и пользоваться прорехами нашей жизни, а потом, наверное, им заинтересуется какая-нибудь газета, и он, подобно Кузьме Ключу, святоше Панфиловне, тоже станет печальным героем фельетона или всего лишь хроникальной заметки «Из зала суда». Это неизбежно.

Другое дело — Серафима Григорьевна. Эта прежде, чем сделать какую-либо пакость, семь раз примерит, сто раз взвесит, обезопасит себя тысячами неуязвимостей и выйдет сухой из воды.

Было бы очень приятно решить дальнейшую судьбу Ангелины Николаевны Киреевой до того, как будет поставлена последняя точка. Но жизнь, как и произведение о ней, не позволяет по мановению волшебной палочки или по прихоти нетерпеливого пера взять и свести два любящих сердца. И Василию и Ангелине нужно еще очень много пережить, понять, перечувствовать. Это же люди с характерами, самолюбиями. Обиды еще живы, раны свежи. Нужно

дать времени свой срок. Этот старый мудрец, наверно, найдет для них счастливое примирение. А про любовь нечего и говорить. Если уж Алексей Пожиткин решил про себя простить Алину, то что же помешает Василию и Ангелине обнять друг друга? Ведь между ними никогда не стоял третий человек.

Очень жаль, что Прохор Кузьмич Копейкин тоже как-то молча ушел с наших страниц, а у него между тем продолжается своя стариковская и очень интересная жизнь. Гуляевскую улицу, где в его доме живет старший внук, оказывается, будут застраивать большими домами. И оказывается, Копейкин будет жить в новой квартире со старшим внуком и нянчить вместе с Марфой Егоровной правнуков.

Тоже ведь не очень второстепенная возможность представить себе и порадоваться тому, как счастлив будет этот старик...

Уж кто-кто, а Афанасий Юдин не оставит Василия своим «комплексным и массируемым» вниманием. И комсомольская мартеновская печь прогремит не только на Урале. В этом можно не сомневаться.

Теперь о Лиде.

Лидочка и Миша Копейкин как будто выглядели той парой, у которой все ясно и predetermined. Однако это не совсем так. Дело в том, что приехали дети Аркадия Михайловича Баранова — молодой инженер-строитель Володя и семнадцатилетняя Надя.

Володя еще до приезда жаждал познакомиться с Лидочкой Киреевой. О ней так много писал ему отец. А Надя, дочь Баранова, встретившись с Мишей Копейкиным, восторженно рассказывала матери, как удивил ее Миша своим умом и своей душевной чистотой.

И как знать, куда это все поведет... Юношеская любовь, конечно, всегда остается памятной, но она далеко не всегда переходит в ту большую любовь, которая скрепляет на всю жизнь любящую пару. А Миша и Лида еще очень юны, и в их отношениях больше воображаемого, нежели действительного. Кто знает, может быть, дружба Василия и Баранова, начавшаяся на фронте, продолжится родством в их детях и внуках. И можно заранее сказать, что Киреев и Баранов будут способствовать этому родству. Но это уже завязка из другой книги. А этот роман кончился.

Расстанемся с лучшими надеждами на лучшее и с твердой уверенностью, что победу за победой одерживало и будет одерживать хорошее, чистое, светлое. И терпит и будет терпеть поражение за поражением все гнилое, гадкое, лживое...

На том стоит и будет стоять наша советская земля и ее великий народ-труженик.

*1961*